

Валерий Платонов

*В мушкетёрах
городе Ерске*



АО «Воронежская областная типография»

Воронеж

2021

Валерий Платонов.
В ЛУЧШЕМ ГОРОДЕ ЭРСКЕ. – Воронеж: АО «Воро-
нежская областная типография», 2021. – 264 с.

*Автор выражает благодарность
Ивану Дмитриевичу Мананкову.*

Валерий Евгеньевич Платонов

В ЛУЧШЕМ ГОРОДЕ ЭРСКЕ

Подписано в печать .11.2021 г.
Формат набора 60x84/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,34.
Заказ № 1138. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в АО «Воронежская областная типография»
394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 73а.
www.oblprint.ru
тел.: 8(473)20-20-900, 277-75-77

ISBN 978-5-4420-0931-6

© Платонов В.Е., 2021

ОТ АВТОРА

Уважаемый читатель!



Книга, которую ты держишь в руках, не должна бы стать реальностью. Более тридцати лет предметом моих исследований является историческое краеведение. Многие в нашем районе и за его пределами знакомы с моими многочисленными газетными и журнальными публикациями и книгами о прошлом Эртильской степи. Но как-то само собой случилось со мной, вдруг начать писать и рассказы. Вначале делал это для себя и близких, потом для знакомых. После публикации четырех рассказов в именитом литературном журнале «Подъем» решился на издание этой книги. Конечно, волнуясь и даже боюсь, ведь новое поприще в 60 лет – сами понимаете, и... «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Но некоторое время назад почти на мистическом уровне осознал, что уже не могу бесконечно сомневаться и откладывать издание такой книги.

Уверен: по прочтении рассказов многие станут искать прототипов моих героев, уверять, что лично знают этих людей, поругивать меня за якобы неверное истолкование событий. Не стоит этого делать в принципе. Признаюсь: не «срисовывал» ничего и никого с натуры, не подбирал умышленно типажи и ситуации, старался не сгущать красок и не делать явных оценок. Мои герои – образы современников, сложенные из наблюдений за нашим про-

винциальным бытием с его неповторимой прелестью и одновременно типичными пороками. Они не похожи ни на кого конкретно, но одновременно многих напоминают поступками, оборотами речи и оценками сущего. Мои рассказы — это тихая философия относительно всем известных понятий, суждений, мотивов и стереотипов поведения.

Надеюсь, многие полистают книгу, по достоинству оценят рисунки Артема Шарапова, прочитают и проникнутся веселой иронией патриотичного жителя Эрска.

Валерий Платонов



МЫСЛИ ПРОВИНЦИАЛА

В шесть ноль-ноль звонок будильника в мобильном. Но уже и не сплю, а так — в полудреме — мысли вперемешку с полусонным бредом. Не люблю, не вижу оправдания валяться в постели и выветривать жизнь безо всякого смысла, когда она и без того давно перевалила за свой экватор. Спасение от этого — подъем без колебаний и сожалений. На столе, кстати, литературный журнал «Подъем» с моими бесталанными рассказами.

Автоматическое исполнение естественных и неестественных, вроде бритья, потребностей и желаний. Очередность мной же заведенного исполнения их задает много лет подряд приемлемый настрой на предстоящий день.

В шесть сорок две выход из дома. Взгляд на самый верх. Как так люди существуют на 15-м этаже? Это же как птицы, как гагары какие-нибудь на скальной высоте. Наверное, даже магнитные волны земли, ее притяжение и прочие невидимые, но объективные силы действуют на людей не как в деревне на земле черноземной.

В шесть сорок шесть на остановке «60-я армия» в Северном микрорайоне. Любопытно знать, сколько пассажиров знают, отчего так назвали эту остановку и улицу. Уверен, из четверых полусонных горожан – моих попутчиков только я и знаю.

Но вот уже автобус движется, и я вижу через стекло с грязными разводами, как пробуждается, как активизируется миллионный город. Дородные тети и не худые дяди расставляют столы и разные приспособы, раскладывают вдоль тротуаров свой специализированный товар – всякую всячину сомнительного качества и надобности, которой и в других местах города пруд пруди. Напротив меня расселась грустная и встревоженная бабуля, явно из тех, что «понаехали». Сидит, нахохлилась, явно в неведомых мне мыслях беспокоится о ком-то. На обочине «Газель». На ее номере «УХО». Автоматически размышляю внутри себя: «И чье это ухо? Грязное, как сама «Газель», или уже вымытое с утра под душем. Наверняка и сам владелец уже не удивляется сочетанию «У 360 ХО».

Автобус идет маршрутом до «Димитрова», что на левом берегу большого хранилища мутной воды. Времени у меня пропасть. Можно вспомнить подробности вчерашнего вечера встречи выпускников исторического факультета. Такие вечера в педагогическом вузе проходят ежегодно в последние субботы марта. И я стараюсь бывать на них ежегодно. Для чего – уже и не понимаю. Может, что-то хочу кому-то доказать? Себе? Другьям, которые также из года в год оставляют явный уют и недоразвитый быт и трясутся в

автобусах ради нескольких часов хаотичных восклицаний: «А знаешь? А помнишь? А как сам, жена, дети, внуки?»

В первые годы после таких встреч дня три-четыре неизменно психику разъедали тупое опустошение и тоска в цвет и запах сигаретного дыма. Наваливалось паническое ощущение, что умные и везучие друзья-подруги продолжают свое развитие и обрели свое назначение, обеспечены, эгоистично довольны ходом жизни, и только ты, один без никого рядом продолжаешь болтаться между беззаботным прошлым и унылым настоящим. Помнится убийственная тоска на полигоне под городом Горьким на великой и темной Волге. (Умели же большевики приободрить народ переименованиями!) Это еще по «духовству» было. Ночные стрельбы. Готовились к весенней проверке нашей спецчасти. Энергичный и творчески необузданный начштаба капитан Кукличев удумал стрельбы в противогазах. Как можно попасть в пульсирующий огонек мишени с четырех сотен метров, да еще в противогазе с потеющими стеклами? Но нам-то что? Приказано стрелять – мы и палим, кто насколько способен владеть собственными нерастраченными нервами. Я способен на твердое «четыре». Нормально – не зазорно перед духами-корешами и самоуверенными сержантами.

Отстрелялись. Замкомвзвода Коняев разрешил нам, «духам», сесть на корточки у наблюдательной вышки с подветренной стороны. Затишье, покой, можно смежить веки или побакланить вполголоса. Кто-то добыл буханку довольно свежего хлеба. Честно поделили на равные куски. Лафа даже без воды. Вспомнилась «гражданка». И вдруг снесло напрочь всю идиллию: «Сегодня же последняя суббота марта! Вечер встречи! Теперь там в Воронеже наши бросаются в чувственные объятия, шутят с либеральным деканом, бухают в какой-нибудь аудитории, а я здесь в холодной шинели давлюсь украдкой хлебом и малодушно

боюсь, чтобы «замок» или «младшой» не засекли низменного поступка будущего сержанта советской армии. Видели б меня мои ученики – старшеклассники, порадовались бы наверняка такому падению...» Но армия во все времена учит не стонать, не жаловаться и не жалеть себя. Кстати, в жизни часто сие дюже гожается.

За разводами нечистого окна на остановке ОНА. На утреннем морозце в стройных колготках и коротком пальтеце. Конечно, нет, спятил, что ли, конечно, не она. Она теперь далеко не такая. Не она, но жутко похожая на нее, ту – молодую, пьянящую, дерзкую и ничуть несбыточную. Рядом покуривают двое озябших курсантов. На синих форменках фамилии «Жуков», «Докучаев». Знают ли курсантики, что те же фамилии даны улицам Воронежа? Должны же знать. Интересно: они уже летуны или пока не очень? В детстве тоже мечтал стать летчиком. Все перерисовывал откуда только можно типы истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, записывал технические характеристики военных машин, собирал вырезки из журналов и наклейки на спичечных коробках. Хотел носить погоны с двумя просветами. Хотеть-то хотел, но знающие люди утверждали, что в летном училище «много математики», а я ее не любил, хотя вроде и знал неплохо. Вот и не пошел и даже не попробовал судьбу испытать. Может оно и малодушно, конечно.

Автобус продолжает движение. Дома многоэтажные. Дома, дома с редкими огнями в окнах. Дома бодрые, а жильцы в них еще спят. Права была моя работающая бабушка, когда утверждала: «Они там в городах этих одни лодырюги пособирались. И едут туда, чтоб поболее нашего поспать».

Город нивелирует взгляды и лица. Все, словно китайцы, на одно неопределенное лицо, с одним неприступным выражением типа «отвали». Но вот на остановке парень со злым ликом, будто враги и впрямь сожгли его родную хату. Нельзя быть злым только оттого, что пришлось рано

встать. Кто рано встает... того плитка током бьет? В деревнях моих теперь тоже мало утреннего народа, спешащего добывать хлебушек и молочко для детишек, а заодно и державу экономически укреплять. Дураков почти уже и нет, а те, что были, померли или поумнели с возвратом нахального капитализма.

Мне теперь уже, конченому провинциалу, невозможно понять, для чего люди кучкуются в больших городах, давятся в проходах, терпят в поисках редких туалетов. Для чего толкаются в маршрутках, сердятся, ругаются и делаются безразличными к безразличным. Даже быть похороненным в городе – не малая проблема. Говорят, мол, в деревне нет никакой работы. Чушь, самооправдательные выдумки бездельников. Как это в селе и нет работы? В наши дни толкового механизатора ни с какой овчаркой не сыскать. Это притом, что он – нынешний тракторист, уже пыль не глотает и не выгорает заживо в кабине-жестянке, как бывало всегда, а восседает в просторной герметичной кабине с «кондюком» и даже не знает, как насадить шкив с помощью кувалды. Неужто наши молодые селяне так любят театры, цирки, концерты и разные там боулинги, что и жизни без оных не представляют. Да вроде и нет. Так, разве что пару раз посетят какую-нибудь «Женитьбу» Гоголя, «Джизель», как говаривал один большой знаток высокого искусства, или очередную московскую дрыгалку под фонограмму. Сделают непременно селфи, чтобы выложить тут же в «сеть» на зависть тем недотепам, какие не умеют красиво жить, и привет вам из какого-нибудь там Сочи или Крыма.

Вот и вокзал на улице Димитрова. Одинаково глупым тоном с хриплым эхом объявляют посадку. Кто придумал так объявлять посадки в поезда и автобусы? С такой интонацией уместно выводить закоренелых преступников на последнюю прогулку перед расстрелом. Голос, полный отращения к пассажирам, брезгливо вещает: «Приготовить-

ся к посадке на... Объявляется посадка на... Заканчивается посадка на...» В вокзале 19 окон и во всех видно, как там за столами что-то считают, вперивши очи в чертовы мониторы, учитывают, сверяют, уточняют и сводят в углы. Россию по-прежнему губят учет и контроль, а теперь еще и непременный мониторинг всего и вся. Впрочем, на контролерах все еще экономят, поэтому маленькая женщина носится от платформы к платформе, ловко и деловито отрывает края билетов. Зачем рвут края билетов, если никто потом их не проверяет? Дань замечательной советской традиции учета и контроля? Не иначе.

Времени до моего автобуса слишком много. Денег для рынка нет, покупать, собственно, ничего и не хочется, но можно пошататься по окрестным улицам, позаглядывать через заборы и в незанавешанные окна. Частные дома и домишки большого города – отдельная реальность. По их объемам, убранству и благоустройству без труда и безошибочно подмечаешь не только достаток, но и степень домовитости, умелости, предприимчивости и изощренный вкус хозяев. Так чудно случается узреть синюю кровлю в сочетании с зеленым забором и крыльцом, на воротах гаража нарисованных благородных лебедей, а в глубине на спиленной березе гнездо с гипсовым раскрашенным аистом. Классика жанра самодовольной безвкусицы!

Переулок Усманский. В угловом доме-муравейнике когда-то ютился мой бедный братик. Жил, ходил на работу, выпивал в меру и без, как большинство вчерашних сельских пацанов, рванувших от скуки в город с наивными мечтами стать здесь счастливыми, обрести любимых подруг, достойную работу и комфортное жилье. У брата что-то уже и получалось, но жизнь так и не поддавалась контролю, потекла хаотично, а в бесстыжие девяностые и совсем разладилась. Вытурили по сокращению с работы. А в довершение пакостей супруга и в начале-то не дворянских

манер и высокого интеллекта окончательно скурвилась и зашалавилась. Не отыскалось в братце внутренних сил и воли противостоять незаслуженной обиде, и в цветущем мае он взял да оборвал свое пребывание на грешной планете. Сам. А я вполне мог тем днем приехать к нему часом ранее, и тогда все могло бы сложиться совсем иначе. Могло бы, но не смоглось, не совпало благополучной случайности. Кого ж теперь всю жизнь винить? Где найдешь ответы на горькие вопросы?

Уже давно подспудно в каких-то клетках мозга залегло убеждение, что злой и безжалостный город высосал жизнелюбие моего беспечного брата, приучил оправдывать его пристрастие к спиртному, погрузил в болото праздного бесилия и безразличия к собственной жизни. Город забрал из нашей сельской семьи брата живым красавцем, а вернул красавцем бездыханным в гробу с красной обивкой. С тех пор город осознан мной не только как автор моего взросления и постижения вечных истин, но и как виновник самой нелепой и горькой из всех самых грустных потерь.

Здесь теперь живут, учатся и работают мои драгоценные детки. Слабохарактерно сам же и доверил жестокому городу их неопытные души. Но наивно надеюсь на то, что они разумно распорядятся возможностями своего развития, охранят себя насколько возможно от мерзостей и жестокостей, что им повезет стать наполненными людьми, исполнителями надежд, если не дедов, то хотя бы отцов.

А мне скорей, скорей надо назад в мой провинциальный городок, где так много планов и неоконченных дел, где я – беспросветный провинциал и для многих, а не только для старых друзей, неплохой в сущности человек.





ДВОРИК

Знаете что, любезный мой читатель, составляет главную ценность небольшого провинциального городка вроде нашего Эрска, что является его неременным атрибутом, упрощает сложности жизни, держит, спасает, воспитывает и, наконец, формирует в человеке все признаки, все печати провинциала? Знаете что? Конечно, вы знаете. Да, это наши дворики – тихие, полузамкнутые пространства, ограниченные от пыльной суеты дорог с разбитым асфальтом, летающим аллергенным пухом старых тополей, уводящих нас от раздражения рыночных цен и прочих нехороших вещей, сокращающих и без того не слишком длинный человеческий век.

Наши дворики – это не только абсолютно конкретные лоскутки городского пространства. Наши дворики – сло-

жившийся годами мир понятных человеческих отношений, своеобразная атмосфера соседской общины наподобие той, что помогла нашим далеким пращурам выжить в борьбе с суровым климатом, диким зверьем и беспрестанным состоянием голода. Жизнь каждой семьи в городском дворике хоть и скрыта от взоров соседей стенами индивидуального жилья, но, между тем, прозрачна и напроочь лишена таинств из-за того, что живущие двориком люди не таясь, бесхитростно доверяют подробности личных переживаний своим соседям. А, собственно, и нет смысла что-то скрывать, когда звуки из квартир в общем подъезде все одно рассекретят, раскроют любой интим, любые страсти и напасти. Чей-то мужик пришел с работы не слишком трезвым, чье-то чадо получило двойку и от этого, а вовсе не от родительского ремешка ревет и обещает исправиться, чья-то дочь уже вызрела и рвется на молодые гульбища с курящими пацанами – все, все становится достоянием общественности в режиме online. В наших двориках все, всё и обо всем знают в мельчайших подробностях. Ни одна хозяйка, застигнутая врасплох нагрянувшими без предупреждения сватами, не постучит попросить бутылку самогона в ту дверь, где его нет, а безошибочно двинется туда, откуда накануне тянуло специфически резкими парами при производстве оного продукта. И сосед не скажет: «Нет-нет, что вы? Как можно гнать самогон? Да ни в жисть за нами такого не водится». Никто так не скажет, потому что вранье такое будет слишком очевидным и неблагородным.

Но дворики городишек глубокой провинции – не данность, не приложение российской провинциальности. Наоборот. Это они первичны. Это они воспитывают в нас провинциальность неписаными традициями, правилами и кодексами самых естественных отношений.

У каждого дворика, как у суверенной, самой, что ни на есть республики, своя оригинальная история, несмотря на

то, что все они схожи одними и теми же чертами: цветом окошек, бельевыми веревками, клетушками земли с редиской, помидорами, морковью, болгарским перцем и прочей нужной зеленью. Начало каждого дворика есть первый камень, положенный отцами семейств в основание фундамента общего дома, который начальство дозволило строить хозспособом от какого-нибудь предприятия, учреждения или конторы.

По мере вырастания из земли стен будущих комфортных квартир крепнет союз мужчин и женщин из молодых семей, ранее малознакомых, пока живущих в разных концах городка. Совместное таскание по шесть кирпичей в стопке на собственном пупе, замесы бесчисленного количества раствора в кузове от списанного грузовика, кладка, штукатурка, сварка, распиловка, обрештовка, покраска, подмазка, отделка и множество иных совершенно неминуемых работ знакомят, сближают, скрепляют и вконец сдružивают взрослых, а за ними и их ребятню. И вот когда приходит-таки день абсолютного счастья – день переезда в недостроенное жилье последнего из получивших ордер на проживание, когда новосельцы привыкают к новым шорохам, запахам и большим пространствам выстраданного обитания, тогда-то и выясняется наличие еще одного счастья – внутреннего дворика.

Обалдевшие от неожиданной радости люди начинают отчаянно уважать, дружить и упиваться удобствами тесного межсемейного общения. Мне, невзирая на солидный возраст, до сих пор памятны многие проявления такого общения. Наши родители очень любили сообща отмечать праздники и дни рождения соседей. Если такое случалось в летнюю пору, то сбитые крест-накрест дощатые столы ставили прямо на улице у недостроенных сараюшек, хозяйки вытаскивали из своих хором, кто чем располагал, и начиналось пиршество с глухим стуком граненых ста-

канов, веселыми разговорами, громким смехом, песнями и беготней детей до той поры, пока кто-нибудь из нас не засыпал, умаявшись на руках взрослых, или, наоборот, по темнушке не разбивал лоб, споткнувшись на бегу о половинку кирпича в траве. Боже мой, как же было увлекательно, молодо, открыто, искренно и подлинно такое общение в нашем дворике!

Матери и отцы играли с нами в снежки и прятки. Помню, как совсем худой дядя Петя любил прятаться за деревянный столб. Удивительно, но его не замечали, и он успевал застучаться раньше, чем тот, кто водил. Мой папа проявлял просто чудеса изощренного прятанья, я был горд, что его никогда не находили, и, сдавшись, просили самому выйти из укрытия. Однажды папа пролежал под дерюжкой у подъезда с полчаса, его искали, ходили рядом, почти наступая на него, но так и не отыскивали.

Но, конечно, каждая семья в нашем четырехквартирном доме индивидуальна по характеру отношений в ней. У нас папа строгий, всегда выбритый, подтянутый, прямой и красивый в пиджаке и брюках со стрелками, а мама ему под стать тоже красивая, энергичная и необыкновенно современная. Наши соседи по первому этажу Черновы старше моих родителей, у них уже взрослые сыновья Сашка и Генка, бегающие по вечерам на танцы. Им неинтересно рядом с такой мелюзгой, как мы. Они, почти не таясь, курят, не учат уроков, отпускают волосы и требуют по моде расклешенные брюки, но нас, малых, не обижают, а, наоборот, защищают от противных обидчиков с соседнего двора. Прямо над нами живут Шаровы дядя Петя с тетей Надей. Им повезло больше, чем нам: квартира точь-в-точь такая же, как наша, но наверху. А жить выше других, бесспорно, намного интереснее. К ним идет крутая лестница, с которой мы не раз летали, зацепившись носком сандалии. Папа и все мы хотели бы жить наверху, но по жребию нам

досталось то, что досталось. У Шаровых две дочери примерно ровесницы нам, и мы крепко дружим с ними. Над Черновыми живут Троицкие тетя Маша с дядей Васей. Их квартира еще лучше, чем даже у Шаровых. Вдобавок к прелестям жизни на втором этаже их окна глядят на южную сторону и соседний двор. Там тоже двое наших ровесников – Толик и Витька.

В школу все дети нашего дома ходили в одну общую, большую, в три этажа, с огромным спортивным залом и шикарной библиотекой. Но никто из нас не учился в одном классе с соседями, и когда на переменах сталкивались лбами в одном большущем коридоре, то радовались и удивлялись, что встретились и что с общей школой нам тоже крупно повезло.

Во всех семьях любили больше лето из-за того, что не требовалось топить печей, но больше запоминались все-таки зимы. Зимой хоть и холодно, но веселей. Вместе со взрослыми мы чистили во дворе лабиринты в сторону сараев и погребов, играли в снежки, валяли друг дружку в чистой свежести и домой заходили только после третьих требований родителей садиться за уроки.

Так вот и жили общинным двором. Ребята подрастали, кончали школу, шли служить в армию, а после устраивались на механический завод, где всем хватало места. Девчонки неожиданно оформлялись в барышень очень даже премиленьких, и тут уже становились неизбежными подглядывания и тайные воздыхания наивных и глуповатых чувств, проявлявшихся в ударах школьной сумкой по голове, театрально громких криках, нереальном визге и тайных надписях мелом на заборе типа «В+Н=Л». Подросткам казалось, что смысл их могли понять только те, кому они предназначались. И действительно, смысл понимался, и на другой день надпись либо вытиралась, либо рядом с ней появлялась приписка «дурак».

Дети подрастали и разлетались из ставшего тесным и грустным дворика. Но взрослые еще не осознавали себя степенными отцами и мамами и продолжали некоторое время относиться друг к другу так же бережно и честно. Мужчины вели себя по-мужски, никогда не выдавая проступков и левых шалостей своих соседей. Женщины, зная о них от женщин, искусно делали вид, что не знают за своими мужьями никаких иных качеств, кроме верности им и дому.

На сей не очень продолжительный период приходится пора свадеб. Всем, конечно, интересно угадать, кто из незнакомых молодых людей попросит девичьей руки, и кого осчастливят своим «выходи за меня» красавцы-парни. Потом свадьбы с выкупами невест, где соседи бьются в кровь с родней женихов, требуя выкупа, равного платы за счастье обладать какой-нибудь датской принцессой. Неуступчивость сторон граничит со скандалом и полным конфузом жениха, но потом вдруг все соглашаются отдать дочь любимого двора за вполне умеренный взнос, и все оканчивается всеобщим счастьем и братаниями.

Нет нужды подробно живописать о следующей за всем этим череде рождений внуков и внучек, приятных хлопот в поисках коляски, распашоночек, пеленочек, подгузничков, игрушек и детского питания. И тут-то соседи впервые начинают обнаруживать странности поведения Троицких, которые, боясь сглаза, сушат детское белье только дома. Наша мама, искренне удивляясь, спрашивает:

– Маш, а чей-то вы детское дома сушите. Неудобно ведь. На улице вон как хорошо – на ветерке пять минут – и готово.

Тетя Маша уклончиво отвечает:

– Да дома тоже неплохо. Удобно. А то пока со второго этажа дойдешь вниз да назад, девчонка вся обрыдается.

Такому объяснению, ясное дело, никто не верит. Тетя Маша способна ради внучки слетать в космос, а не то, что

во двор со свежевыстиранными пеленками. Но никто и не страдает по поводу странной тайны, понимая, что ради внуков можно даже слегка поглупеть и начать перестраховываться всяким суеверием.

Однако это оказывается не безобидной странностью, а симптомом серьезного заболевания с драматичным помутнением братских отношений обитателей дворика.

Нет, сами отношения до поры остаются вполне доверительными. Разве что в них уже не чувствуется прежней теплоты, но занять трешку или червонец по-прежнему идут охотнее к соседям, нежели к родне.

Но вот пришла пора, когда все взрослые обитатели двора вдруг ощутили себя не просто бабушками и дедами, но и пенсионерами. Нет нужды спешить на работу, а потом по магазинам, а потом сажать, поливать, полоть, а потом мыть, стирать, красить, а потом... Все это можно и нужно по-прежнему делать, но не всегда торопясь и потея. И в летнюю пору на лавочке все чаще баба Маша жаловалась моей маме:

– Всю жизнь протерпужила, Зой, а пенсия с заячий хвостик. Кто раньше больше получал, тому и теперь больше дают. У тебя-то, небось, пенсия раза в четыре поболее моей.

Мама начинала терпеливо объяснять, что размер пенсии зависит от сумм бывших ранее отчислений, образования, прежней должности, но тетя Маша все равно обиженно сокрушалась:

– Нет у нас никакой справедливости. При коммунистах хоть какое-то равенство было, а теперь одним банкирам и хапугам только и хорошо.

Этот булыжник явно в огород мамин, которая почти всю жизнь отработала в государственном банке. Она обижается, поднимается со скамейки и, расстроенная, молча уходит домой жаловаться мужу на бестактность бывшей уборщицы.

Обитатели провинциальных двориков совершенно не умеют быть пенсионерами. После длительного трудового века с беготней, доставанием и добыванием всего и вся они не ведают, куда себя деть и чем занять. Они и не догадываются, что можно начать жить размеренно и спокойно, получать удовольствие от отсутствия необходимости опаздывать, заискивать, терпеть хамство начальника, бояться сокращения, увольнения, разноса и доноса. У вышедшего на пенсию мужчины есть только два достойных занятия – рыбалка и... второго, впрочем, занятия я твердо и не назову вам, дорогой читатель. У женщин-пенсионерок тоже два достойных дела – помидорные грядки и встречи внуков.

Иными словами, времени у пенсионеров хоть отбавляй. Глядя по утрам в зеркало, они все лучше понимают, как быстротечна жизнь, но что из-за этого надо делать, совершенно не понимают. Постоянное мелькание соседей во дворе все больше раздражает, крики чужих внуков поздним вечером не дают заснуть, и уже начинает казаться, что двор подметаешь только ты один, а остальные сорят и сорят даже нарочно только под твоими окнами.

Но все это преодолимо, все можно уладить и сгладить, обо всем можно договориться, ведь столько лет прожито под одной общей крышей в ладу и взаимоуважении. Двор, как и прежде, объединяет, создает теплоту, рождает незлобивые шутки и смех.

Однако куда более опасной для жителей провинциального двора оказалась политика. К глубочайшему пристращению обсуждать вопросы внутренней и внешней политики государства никто не был готов. Раньше на это не было ни времени, ни желания, ни смысла. Но теперь в стране шли перемены, никто ничего не мог понять, все летело в тартары. Газеты день и ночь писали про злоупотребления прежней власти, про демократические перемены

и бандитские разборки, про сказочные обогащения одних и низвержение других. По Белому дому колотили из танков и вновь говорили о демократии. Советский Союз рухнул и не восстанавливался, страну накрыли увлекательные игры в ВЫБОРЫ, ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ и НЕТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ. Ну, как тут было не сойти с ума? Двор разделился вначале по признаку политических пристрастий. Две семьи хотели Ельцина, Троицкие – Зюганова, а Шаровым нравился Жириновский. Спорили часто и жестко, переходили на личности, потом стыдились чрезмерных эмоций и обещали друг другу больше не вступать в дебаты, но обещаний никто теперь не выполнял.

Дядя Петя Шаров убежденно частил:

– Вы слыхали, что вчерась Жириновский сказал? Слыхали, как он вашего Ельцина отбрил? Так ведь и сказал, что если за него проголосуем, через неделю и Советский Союз восстановит, и всех жидов на хрен поразгонит. Только ему одному можно верить, остальные все брехуны и партократы.

Тетя Маша перебивала его:

– Да че ты утираешься за своего Жириновского? Дурак, он и есть дурак круглый. Чем это тебе, интересно, при коммунистах-то не жилось? А? Зарплата всегда вовремя, аванс вовремя, кина и то хорошие крутили, а щас что? Страмя одна. Вечером сидим с внучкой смотрим, как начнуть зажиматься, мы ей: «Сходи, принеси водички». Она бедная за вечер носит, носит воду, того гляди ночью обдуешься с нее.

– Не, Маш, ты не права, – не унимался Шаров. – Это все временно. Я и говорю, придет к власти Жириновский – он быстро порядок в стране наведет. Это ж демократы специально разлагают нас своим похабством, а молодежи она нравится. Мы-то в своей жизни такого не смотрели. А вот он, как раз Жириновский на прошлой неделе...

– Да помолчи ты со своим Жириком, Петя, – не выдерживал наш папа – убежденный сторонник демократических перемен. – Какой он такой порядок наведет, если сам себя вести не может? Ему только с бабами воевать. То подерется, то за волосы оттаскает. Стыдоба на весь мир. Не политик, а так, хам трамвайный. У нас и то таких в Эрске – пруд пруди.

– И правильно он делает, что таскает за волосы, – еще рьянее горячился дядя Петя. – Нечего бабам в политику вообще лезть. Какую они там сиську понимают? Я бы всех этих «хакамад» гнал бы отсюда куда подальше до самой Японии. Курица не птица, а баба не человек. Не нами придумано.

– Чего-чего? – с презрением в голосе спрашивала натуристкая жена дяди Пети, тетя Надя. – Кто это не человек? Ты, что ли, человек? Просидел всю жизнь за моей спиной, пропьянствовал, а теперь он человек. Видали деятеля? Помолчал бы. Все мозги забил своей политикой. Терпения нет.

После демонстративного ухода от политических дебатов тети Нади всем становилось неудобно и обстановка понемногу замирялась. Начинались разговоры про детей и внуков, а дядя Петя хмурился, боясь домашней нахлобучки от супруги.

Но политические дебаты оказались не единственной напастью. Вместе с ними шло расслоение общества по имущественному признаку. Лучше всех приспособились к рынку Шаровы. Они и раньше приторговывали клубникой с собственной дачи, а теперь стали завсегдатаями на местном базаре. Торговали всем: помидорной рассадой, капустой, огурцами, яблоками, порошками, дверными замками и даже женским бельем. Вставали засветло, чтобы захватить место получше, а ложились, когда уж другие собирались просыпаться. Часто считали и пересчитывали доходы,

планировали и мечтали богатеть дальше. Много способов на пути в олигархии перебрали Шаровы, следуя конъюнктуре спроса горожан, но пришли к правильному убеждению, что доходнее всего торговать самогоном или разведенным спиртом.

После этого наш двор стал не просто проходным, а открытым для самой широкой публики в любое время суток. День и ночь алкаши перлились в наш единственный подъезд, как на святую «иордань». Бывало, среди ночи путали двери и стучали спящим соседям. А те наутро, конечно, высказывали претензии и совестили «бизнесменов» на людском несчастье. Шаровы обычно отвечали:

– А мы никого не зовем, объявлений по городу не клеим. Ну, а если приходят, приходится давать им – все равно не отстанут.

В конце концов, Троицкие не выдержали и анонимно сообщили в милицию о том, что их соседи торгуют самогоном. Понятие «анонимность» для такого городка, как наш, не имеет никакого реального смысла. Приходил участковый, оштрафовал Шаровых и пригрозил еще большими репрессиями. После этого между ними и Троицкими началась неслабая война со взаимными оскорблениями и угрозами. Мои родители симпатизировали Троицким, а Черновы считали, что продавать соседей властям – самое последнее и низкое занятие.

Счастье и несчастье родителей в счастье или несчастье их детей. Дочерям Шаровых вдруг перестало везти в их семейной жизни. Обе оказались матерями-одиночками без законных мужей. Из-за психического потрясения старшая Юлия ударилась во всякую бесовщину с гаданиями у бабок, цыганок, предсказаний по гороскопам и прочими предрассудками. Однажды досужая гадалка сказала ей: «Все твои беды, милая, от той, что внизу. От той, что хорошо говорит. Она тебе и сделала». После ключевого слова «сде-

лала» мысли в голове начинают лезть друг на друга, как куры во время кормежки. После тщательного анализа слов безграмотной карги Юлия вычислила, что понятие «внизу» – четкое указание на маму, которая к тому же умеет грамотно рассуждать.

Что тут началось? Шаровы стали рассказывать всем и повсюду, как моя мама «сделала» их дочерям, как разрушила их семьи и шлет без конца порчу на их здоровье. Однажды ночью они облили керосином площадку перед нашей дверью, а потом насыпали какой-то «нехорошей» земли. Мама страшно переживала, страдала и ругалась:

– Совсем на старости лет спятили, придурки. И откуда столько темноты в людях? Как будто их в школах сроду никто не учил. Верят во всякую чушь, а себя православными считают. Всю жизнь прожили как люди, а под старость совсем побесились.

Мама из-за соседского хамства часто плакала, и папа переживал тоже, хмурился, но ничего сделать не мог. Мы, их дети, от возмущения перестали здороваться со всеми Шаровыми, делая вид, что не замечаем их присутствия в нашем дворе. А Троицкие, вместо стремления примирить враждующих, тоже подбелдыкивали:

– Ну, что, Зойк, получила благодарность? А то все защищала их. Все думала, что достается только нам одним. А с такими людьми-то на одном гектаре лучше не садиться...

Мама молча соглашалась и спешила занять себя каким-нибудь долгим делом. Через полгода, к осени Шаровы успокоились – то ли гадалка внесла уточнения в свою версию, то ли просто им надоело пакостить.

Однако почти вслед за этим вспыхнула война между Черновыми и Шаровыми, к которой вскоре подключились и Троицкие. Теперь в нашем дворе знают, что самые беспощадные и непримиримые бои между соседями разгораются тогда, когда это касается доброго имени внуков.

Черновым доложили, что якобы тетя Надя рассказывала на базаре кому-то о том, что старшая дочь Черновых только с виду скромница и учится в институте, а на самом деле ее оттуда давно выгнали за пропуски занятий и за то, что пьет и гуляет напрапалую с мужчинами. Это была явная напраслина и навет на взрослого ребенка. Чаша переполнилась и одновременно лопнула. Чернова не нашла в себе сил выяснить, говорила ли такое тетя Надя или это только так их сплели досужие языки. Через пару минут после телефонного разговора с носителем наивозмутительнейшей информации она залетела в квартиру Шаровых и в истерике кричала там, размахивая кулаками:

– Сволочи! Вы всех перекружили, всех перебаламутили. А теперь и до дитя моего добрались, твари негодные. Сами, твари, жить не умеете и других со свету сживаете. Чтоб вам после этого пусто было!

Из спальни выбежал дядя Петя и грубо вытолкал Чернову на лестничную клетку, сопровождая свои действия площадным матом. На помощь жене прибежал сам Чернов и какой-то рейкой долбанул по голове дядю Петю. Ущерб большого не нанес, только ухо немного ободрал, но тот тут же вызвал милицию. Участковый милиционер стал опрашивать соседей о деталях ссоры. Когда он попросил рассказать об увиденном Троицких, то дядя Вася с обидой выговорил ему:

– А это ты, милоч, и виноват. Зачем же ты рассказал им, кто заявил на них про самогон? А они потом год целый брехали на меня. Они уже совсем сбесились. По ним психушка плачет, а вы все защищаете их. Вы же сами по ночам самогон у них и покупали.

На площадке появились Шаровы, и разразился такой ор, что в соседнем дворе решили, будто и до нашего заспанного Эрска добралась мода на бандитские разборки и с кого-то, не иначе, живьем сдирают кожу. Если бы не

активный и профессиональный мат нашего участкового в адрес воюющих сторон и не его заталкивания противников в собственные квартиры, вряд ли дело кончилось бы только словесной канонадой.

После того случая вот уже полтора года, как никто не разговаривает в нашем доме, а двор сделался местом напряженных дум и тайных проклятий. Никто ни на кого не смотрит прямо, но все зычат исподтишка друг на друга, будто через прорези прицелов. Дети и внуки ведут себя по образу и подобию взрослых и уже не раз дрались между собою.

Нашим родителям уже далеко за семьдесят. Они все чаще нуждаются в покое, внимании и взаимной поддержке, но этого нет и уже, очевидно, не будет, как не будет чудесного и до слез близкого дворика. Наш милый и уютный дворик погиб, стал жертвой свободного времени, политики, материального неравенства и безграничной любви к собственным внукам.



ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ

На сессию депутатов Эрского района пригласили не только народных избранников, но и глав сельских администраций. В зале присутствовали молодой прокурор, начальник милиции, руководители службы занятости, почтамта, связи, по газу, по транспорту, начальники отделов и руководители из сел – практически весь руководящий бомонд районного масштаба.

Первые шесть вопросов повестки были рассмотрены в неприлично быстром темпе. Депутаты без умственных усилий единодушно голосовали, едва дослушав предлагавшиеся проекты.

Некоторые из них, отвлекаясь на реплику соседа, даже не успевали уловить и саму формулировку темы и вовремя поднять руку.

Постороннему человеку наверняка показалось бы, что аудиторией безраздельно владеют равнодушие, полное единомыслие и состояние благостной расслабленности.

Но вот подошел черед гвоздя всей программы – утверждение бюджета района на предстоящий год, и все разом подобрались и приняли вид нешуточной озабоченности. Прекратились перешептывания, перемигивания, легкомысленные ерзанья в креслах. К трибуне выплыла начальница консолидированных районных финансов. Сквозь макияж на ее лице проступал нервный румянец. Она поминутно снимала и надевала тонкие очки, встряхивала крашеной головкой и кокетливо опускала реснички, малость робея перед многоликим собранием. Антонина Павловна волно-

валась не только тем видом волнения, каким волновался бы каждый из нас, выступая перед неглупой публикой, среди коей всегда найдутся ждущие наших оплошностей. Она волновалась совершенно другим видом волнения и по другой причине. И она, эта причина, происходила вовсе не из разряда тех, которые так значимы для женщин и которые, как правило, совсем не замечаются мужчинами. Нет-нет. Выглядела Антонина Павловна безупречно и в некоторой степени привлекательно. Дела ее мужа и детей тоже обстояли на редкость благополучно. Ремонт в ее большом доме получился такой, как она того желала, и даже неожиданно лучше; на зависть соседкам и разведенным подругам тылы начальницы районных финансов были прочны и незыблемы. По крайней мере, так полагала она сама.

Волновалась же она по причине, которая была прекрасно известна малой части из числа присутствовавших в зале. Другой, несколько большей части, эта причина была не вполне ясной. Были здесь и такие, которые безнадежно блудили в лабиринтах мудреного бюджетного процесса или вовсе не желали входить в него, отягощая без пользы собственные мозги инородной информацией. Взять того же депутата Котова. Этот опоздал к началу заседания, проекта бюджета на руках не имел, находился под заметным градусом, а потому был привычно возбужден. Котову было без разницы, утверждать или отвергать, одобрять или гнать взащей: главное – участвовать, бурлить, негодовать и генерировать, по его разумению, свежие идеи и нестандартные мысли...

Волнение в нашей финансистке присутствовало от другого. В своем выступлении ей предстояло выгодно подать те цифры, что ввявь и выпукло демонстрировали заботу о благе народа и одновременно его отцов-командиров, а это означало – растворить, затушевать, припудрить суммы, которые намечались под сомнительные, с точки зрения общественной пользы, траты.

Неискушенному в такого рода делах миссия могла показаться невыполнимой. Благо народа, за редким исключением, несовместимо у нас с благом его руководителей. А тут требовалось еще поднятием депутатских рук утвердить обслуживание интересов конкретных лиц. И это при дистрофически убогом бюджете района, когда сей документ на восемь десятых дотирован областной казной.

Обстановка подогревалась и тем, что содокладчицей объявили Марию Михайловну Нагловатову. В Эрском районе ее знали и справедливо оценивали как жену колхозного председателя, как женщину своенравную, властную и категоричную. Нагловатова попривыкла всех в своем колхозе видеть обязанными ей и ее супругу за счастье находиться под их семейным патронажем. Однако те самые подданные в силу их непреодолимой испорченности и духовной недоразвитости не то чтобы не ценили чуткую опеку, но в преобладающей части сильно недолюбливали чету Нагловатовых, ну и время от времени пакостили им. А что ж еще может позволить себе русский мужик? Со времен крепостного права, не имея сил открыто протестовать против ненавистных бар, лихоимцы совершали тайные потравы помещичьих угодий, поджоги их ометов и овинов. В наши дни традиции скрытного протеста все еще живучи. Новые, не крепостные времена расширили арсенал протестных действий. Ныне иной ратай, особенно в изрядном подпитии, излагает своему хозяину так образно, что тот, несмотря на исключительное умение ругаться, зачастую остается при своих, а иногда и робеет, видя возбужденность вчерашнего робкого и степенного работника.

Но что толку сотрясать воздух словесами? Кого сегодня убедят даже самые эмоциональные и аргументированные речи? Яркое и неожиданное действие всегда интереснее десятка диспутов. Очевидно, поэтому в хозяйстве сыскались изобретательные и дерзкие «протестанты». Однажды

в ночной тьме они натаскали с десятков ведер дерьма в рабочий кабинет своего управителя. Утром его и конторскую челядь ожидал неслыханный сюрприз. Вони хватило на все правление, а веселых пересудов на неделю и на весь район. «Юмористов» искала милиция, но как-то слишком быстро не нашла даже по горячим дурно пахнущим следам. Следствие параллельно вел и сам Нагловатов. Он практически сразу вычислил виновных и по неопровержимым признакам пришел к школьному туалету. По его приказу туалет как соучастник преступления был тем же днем разрушен, а за ночь колхозники растащили по своим подворьям кирпичи. Единственными наказанными оказались дети и учителя, которым длительное время приходилось испытывать неестественные трудности по поводу естественных надобностей.

Нагловатова при Нагловатове исполняла роль не только супруги. При ее необыкновенно деятельном характере и жажде движения к семейному благополучию такая участь не могла быть терпимой. Мария Павловна до мелочей знала состояние колхоза, обо всем и всех имела собственное понятие и стремилась действовать исключительно в его русле. Обыкновенно ночной порой она не только рождала инновационные идеи, но и успешно внедряла их в не шибко гибкое мышление супруга. Наутро тот становился ярым поборником и непреклонным исполнителем полетов жениной мысли. Став депутаткой, Нагловатова стремилась отработанную схему управления колхозниками распространить на весь район.

Обведа аудиторию трепетной рукой и глядя поверх голов, она вещала:

– Уважаемые коллеги. Я очень много размышляла над каждой статьей бюджета, взвешивая все «за» и «против». Каждый из нас принес в этот зал боль и слезы своего населения, своих людей, но мы должны подняться над личными интересами и сосредоточиться на самом главном. Вчера

у меня состоялся обстоятельный телефонный разговор с Прямодубовым, товарищи. Ну, что сказать, дорогие мои коллеги? Будем и мы когда-то в его положении. Как хотите, но я обещала ему помочь и уверена, что вы поддержите меня в этом стремлении. Решать судьбу района нам, и нам определять его будущее...

И вот сессия подходит к своему апофеозу, к пику боре-ний, надежд и разочарований. Наступает время дебатов о доходах и расходах.

Разгоряченные депутаты, перебивая друг друга с непре-менными извинениями, кричат:

– Давайте этим дадим! И этим нельзя не дать! Как же так? Как же этим и не дать?

– Предлагаю увеличить расходы, иначе что же это та-кое? Как же мы можем быть равнодушными и не увели-чивать?

– Надо подумать и изыскать скрытые резервы. Надо обязательно изыскать. Возможности, вне всякого сомнения, есть. Надо их просто найти. Надо всем соорганизоваться и подумать. Надо всем этим, наконец, всерьез заняться.

Робкие попытки финансистки выяснить, откуда взять и где изыскать, когда средств не хватает и на первоначаль-ный тощий вариант, утонули в перекрестных жарких речах о нуждах района и судьбах людских. Движение от статьи к статье дало бой, замедлилось и остановилось совсем. Выступления с мест нарастали, все чаще слышалось эмо-циональное повизгивание посреди общего рабочего шума. Демократия была налицо и явно торжествовала. Лишь вы-ступление депутата Бровина, привыкшего говорить, когда молчит его школа, на время заставило публику прислу-шаться и слегка перевести дух.

Однако после депутаты возобновили бои, вновь настой-чиво предлагая дать, увеличить, добавить и изыскать. Все неплохо понимали, что реально это можно сделать за счет

урезания расходов на другие нужды и потребности. Но за чужой счет всегда некрасиво, болезненно и неблагородно. Знали депутаты и о другом источнике. Как не знать, когда они народ опытный и практичный – от станка и от плу-га. Пополнить бюджет района всегда можно за счет сбора многомиллионных недоимок с предприятий и хозяйств. Но для этого надо с кем-то нешутейно воевать, портить личную кровь, нервы и отношения, а район маленький – куда ни повернись, везде либо свои люди, либо родствен-ники, либо те, с кем враждовать не приведи Господь и себе же дороже.

Демократичная атмосфера явно сгущалась, становилась очевидной и многогранной. Многие депутаты важно мор-щили лбы, терли переносицы и иными способами стреми-лись заявить о себе, а также преподнести всем свой вес и значимость, споря с районной властью, мол, знай наших. Но не однажды замечено: дело принимает особый оборот, когда разговор переходит на личности и бывают озвучены фамилии. Тут уж округлые словеса уступают место опре-делениям, формулировкам и эмоциям с резкими жестами и истеричными выкриками. А поскольку не в наших тра-дициях слушать мнения других и отвечать за сказанное, то довольно скоро наступает кульминация с непременным вопросом: «Подерутся или нет?»

Депутат Гуднев – тучный, здоровенный дядька в кру-глом со складками джемпере коричневого цвета и таким же лицом – выждал своего момента, поднялся с первого ряда и, повернувшись к залу передом, а к президиуму – всем остальным, требовательно вопрошал:

– Поясните, значит, мне и многим собравшимся, что означает выделение средств на доплату к пенсиям бывшим муниципальным служащим? Что это значит? Значит это, что одним дадим, а другим, которые по двадцать пять лет оттрубили руководителями в сельском хозяйстве, нет. Не-

достойны, значит. Значит, пусть живут они там, как хотят? Пусть сами там барахтаются. Они все отдали производству. Все. И пусть теперь у них валится изба и рушится потолок. Пусть живут в нищете. Так, что ли? А кто это те? Кому мы тут собираемся бросать кусы из дырявой районной казны? Кто? Вы посмотрите, как у нас живет народ. Кто о нем-то у нас позаботится? Нищета одна кругом. Давайте как-то решать по-справедливому. Нас народ на то избрал и оказал доверие.

Дальнейшая речь депутата Гуднева была призвана окончательно убедить коллег в том, что самые нищие в районе – это бывшие председатели колхозов, у которых сплошь валяются избы, рушатся потолки и, страшное дело, постоянно падают подгнивающие заборы.

Список тех, кого депутаты обязаны были осчастливить прибавками к пенсии, состоял из трех человек, а сумма трат на них была довольно скромной. Но депутата Гуднева бесила не сумма, а собственно фамилия бывшего главы района Прямодубова. С ним у Гуднева сложились давние и сложные отношения. В свое время рабочие предприятия, где три десятка лет рулил Прямодубов, активно поддерживали его на районных выборах. Между ними установились внешне неплохие отношения при взаимной глубоко зарытой неприязни. Прямодубов не любил Гуднева за небеспочвенные подозрения в воровстве и подлогах, а Гуднев ненавидел Прямодубова из-за страха пострадать от его подозрений в воровстве и подлогах.

Нрава Прямодубов был недемократично крутого. Руководителей снимал по одному в каждом месяце. И как-то так случайно совпадало, что потерявшие свои посты принадлежали к лагерю тех, кто призывали не голосовать за Прямодубова. Не ценил и не жаловал всерайонно избранный глава свою паству. Многие стали смекать, что очередь может дойти и до них, сговорились промеж собой

и подняли бунт. А дальше пошло-поехало. В драке волос не жалеют. Не обошлось без запугиваний, угроз, низкопробного компромата – все по-взрослому без слякотно-благородства. Но, виданное ли дело, свергать главу, когда за него отдали голоса «лучшие люди района», как сам он любил говорить. Каждому следовало встать либо на сторону главы, либо пойти в стан смутьянов. Опыт Гуднева, прошедшего все ступени руководящей лестницы с самых низов, все его нутряное чутье и интуиция подсказывали: настал момент перехватить инициативу, сделать решительные шаги. Выбор дался не легко, но Гуднев выступил инициатором, агитатором и первым подписантом обращения в поддержку законно избранного главы.

Но с каждым мудрецом хотя б однажды, а случается конфуз. Уже пару дней спустя ситуация получила непредвиденное развитие. Областное начальство, тоже заимевшее зуб на Прямодубова, решило сыграть на настроениях депутатов-бунтовщиков. Из центра явился полномочный засланец на предмет беспроблемной отставки действующего главы района. Маятник полетел в противоположном направлении, Гуднев в тот же день благоразумно прибежал в лагерь воинствующей оппозиции Прямодубова и принялся бичевать последнего последними же словами. Главу района принудили написать прошение об отставке в связи со слабым здоровьем, которому мог позавидовать едва ли не каждый, кто знал его лично. Оставшись не у дел, Прямодубов частенько публично костерил Гуднева, а услужливые лица доносили содержание тех речей до ушей адресата.

На сессии Гуднев жаждал теперь лягнуть захворавшего нехорошей болезнью Прямодубова, а попутно и заявить свои претензии на блага для себя лично. Депутаты знали того единственного в районе, кто более четверти века правил колхозом. Знать-то знали, но любить за это не хотели.

Жестикулируя и сверкая очами, Гуднев негодовал:

– Что ж это такое у нас получается? Про него закон написан, и опять надо дать ему. А про нас, руководителей села, написать забыли. Некому, значит, написать. Пусть он хоть теперь, больной, поймет, каково оно простому народу, а то ведь он ни с кем не считался, никого не слушал, ломал всех подряд. А мы-то кому нужны? По нам только обещал издать закон губернатор Шабалкин. Обещать-то обещал, но где теперь он сам, этот Шабалкин? А тоже ног под собой не чуял, а на выборах пролетел со свистом. Что ж он сам-то, святой? Или вы думаете, Шабалкин наворовал меньше меня, что ли?

Выступавший замешкался, оценивая свою последнюю фразу. Прокурор напрягся. Зал затих, но через мгновение взорвался всеобщим смехом, веселым гвалтом и репликами:

– Гляди-ка, сам сознался. Явка с повинной? Го-го-го.

– Нет, не меньше, но и не намного больше. Хо-хо-хо.

– А мы и не сомневались.

Сессия ожила, вышла из тупика. Случилась разрядка, и депутаты утвердили бюджет в его первоначальном варианте вполне демократично, с легким настроением и единогласно.



ЛЕТНИЙ ЭПИЗОД

Кто придумал это лето? Такая нелепость с нашим летом, я вам доложу. Каждый год ждешь, ждешь его, а оно свалится на тебя вслед за бестолковой весной и не обрадуешься. Ну, кому по нраву эта жара, эти комары, эти собаки, воющие и лающие ночи напролет? Да и ночи короткие – тоже беда. Обливаешься потом, слушаешь собак, шорохи и крики юнцов при открытых настежь форточках, лежа шлепаешь по всем нежным местам собственного тела, тщаешься прибить невидимую комариху, и вот он уже, рассвет в окнах, пора собираться на работу, а ты еще и не заснул глубоко, не восстановил мозг после переживаний предыдущего дня. Кому оно нужно, такое лето?

После одной из таких ночей явился Ефимов к себе на службу. Чувствовал он себя совсем разбитым и надеялся за

рабочим столом, отключив телефон от болтливой сети, подремать и добрать отдыха для души и тела. Чтобы процесс пошел быстрее, по обыкновению, запустил в свое сознание приятную грезу: воображаемое любовное свидание с «белокурой Жазель» – Валькой Грымзиной. В реальности такого свидания никогда не было и, скорее всего, и быть-то не могло, но отчего б не представить себя красавцем и донжуаном, достойным Валькиной молодой стройности и предполагавшихся любовных способностей разведенной особы.

Процесс погружения в приятную негу подходил к концу, и Ефимов уже практически полностью «овладел» предметом своих давних мечт, когда в дверь кто-то бесцеремонно постучал и сразу же вошел.

– Спишь, что ли? – к столу с протянутой рукой шел Семен Иванович Просолин. – Ну ни хрена себе, ты даешь, Василич. Спать по ночам надо, а на работе работать, а то мы так коммунизма никогда не построим, – бесцеремонно и шумно балагурил Семен Иванович. – Я к нему по делу, а он, главное дело, спит, – продолжал конфузить непрошенный гость.

– Да, по правде говоря, что-то спалось нынче плоховато. А тут тебя принесло, – постепенно отыгрывал Ефимов. – Ну, привет, привет. Каким богам молиться, что вижу тебя? – добродушно оголил вставные зубы хозяин кабинета.

– Да так. Дел-то всего на пять копеек. Мимо вот проезжал – думаю, дай зайду, проведаю, жив ли дружок? Чтой-то и глаз не кажешь? В баню совсем перестал ходить, жиром заплыл, на работе как кот дремлешь. Гляди, а то так девки совсем любить перестанут, – щурился лукаво довольный своими наездами Просолин.

– Девки. Да какие там девки? Тут уже и на свою-то сил не хватает. Стареем, Иваныч, стареем. Внучку вон на прошлой неделе пятый уже пошел, а ты про девок спрашиваешь, – явно притворялся Ефимов, кокетливо намекая, что насчет девок он еще вполне горазд.

– Я вот что заехал-то, Василич. Там мои ребята около конторы трассу новую ведут, а, небось, уже и сам видел? – беспечно вертел ключами от «Нивы» Просолин.

Ефимов кивнул в знак того, что он осведомлен об этом и уже ожидал, о чем станет просить его давний приятель. Надо сказать: десяток лет назад они крепко дружили, имея общий интерес в борьбе с сильным чиновником из местных. Ефимов даже крепко уважал Просолина за его оппозиционный настрой против местной власти и независимые суждения. В те годы они часто встречались и были довольны друг другом, но в последние времена иные заботы отдалили, развели, припудрили и затупили их взаимные отношения.

– Я вот зачем к тебе, Василич. Раз видел, как ведут трассу мои хлопцы, так небось уже и сам сообразил, что она идет прямо на твои сараи. А другого места мы не найдем, понимаешь? На плане-то твоих хибар нет. Они ж у тебя построены, конечно, без всякого согласования с архитектурой. Вот их и нет на моем плане, – зачем-то нудил Просолин.

Ефимов поморщился. Его всегда раздражала категоричность суждений Просолина, и в этот раз он не соглашался с этим «конечно», хотя Просолин был прав: сарай был поставлен самочинно, как и большинство сараев в Эрске.

– Ты вот, что, Василич... У меня к тебе, можно сказать, деловое предложение. Я вот думал-думал: как мне выйти из ситуации с наименьшими потерями и предлагаю вот что. Только ты, сразу предупреждаю, не подумай, что я давя на тебя или что-то в этом роде. Ни в коем случае даже мысли никакой не имей. Мы друг друга уже сто лет знаем, и, сам понимаешь, я ценю тебя не первый год. Однозначно тебе говорю: я только предлагаю, а хозяин ты и тебе решать. Можешь и с супругой посоветоваться.

Ефимову стала надоедать неопределенная речь Семена Ивановича, и он не скрывал своего ожидания ее конца, сдерживая зевотку и шаря в ящиках стола в поисках сигаретной пачки. Наконец он вспомнил, что оставил ее внизу в машине,

куда идти ему совсем не хотелось, да и дослушать до конца бестактного посетителя полагалось. Он вопрошающе воззрился на своего визави.

– Ты это, Василич, как говорится, мы с тобой уже давно друг друга знаем и можно без всякой дипломатии. Я что предлагаю-то: ты даешь добро на снос сарая, тем более, что он у тебя давно пустой, без поросят и без кур стоит. Не знаю зачем он только место у тебя занимает.

«У тебя не спросил», – съязвил про себя Ефимов, но терпеливо промолчал.

– Короче, что я предлагаю, а там смотри сам. Ты даешь добро снести сарай, а мои ребята аккуратно разберут его, сложат и потом быстренько проведут трассу, утрамбуют назад грунт как положено и по новой поставят твою сараюшку. Еще лучше, чем сейчас будет, сделают.

Ефимову было обидно слышать, как его личное детище, собранное из чего придется, но с большими потугами, предмет его самоуважения и самовосхваления называют сараюшкой. Он совсем расстроился, план Просолина ему виделся нехорошим бредом, но он из вежливости неопределенно поинтересовался:

– А что, на моем объекте свет, что ли, клином сошелся? Обойти, что ль, никак нельзя?

– Да нет, ты, Василич, не обижайся. Я почему к тебе безо всяких церемоний? Просто знаю тебя как человека умнейшего и сознательного, что ты меня поймешь, – деловито рассуждал Просолин. – Вода-то всем нужна. Люди бедствуют без воды. С большим трудом вошли в программу финансирования по воде на этот год. В другом месте трассу не поведешь – то огород, то дом, то выгребная яма. Путь один по месту, где твой объект, – Просолин для верности жестом провел незримую трассу перед озадаченным лицом Ефимова.

– Ну, Иваныч, ты мне и проблему подсунул – сарай сносить. А он, между прочим, мне требуется, – неопределенно глядя в окно, театрально не соглашался Ефимов.

– Нет, ну а ты, Василич, сам подумай, ты что, разве чем-то рискуешь? От тебя только требуется дать добро, а мои ребята в момент разберут и соберут. Ну, если уж шиферину какую попортят, ну найдем для такого случая или компенсируем чем хочешь. Я же тебе, видишь, как старому приятелю все подробно разъясняю. Так-то, по совести сказать, если бы не твой сараюшка, я бы просто бульдозером сдвинул незаконную постройку и был бы прав, – зачем-то усилил свои аргументы Семен Иванович.

Ефимов по правде не особенно расстраивался: сарай давно уже мешал и ему самому, поскольку живности в нем уже три года никакой не было, а внутри стоял старый велосипед, борона, поливальник и какие-то старые вещи, которые выбросить было жалко, а носить невозможно. Он мог бы согласиться и на то, чтобы сарай просто разобрали на дрова. Но упоминание о том, что его детище могли бы запросто снести бульдозером, показалось ему явным нахальством.

– Ну, ничего себе, бульдозером? Кто бы это тебе решил? – с вызовом поднял брови Ефимов. – Ты, Семен Иваныч, извини меня, но прежде чем трассу на плане рисовать, надо было сперва ножками ее по земле пройти. Тогда б вы увидели бы, что прохода нет. А если сносить, как ты говоришь, незаконный объект, то тогда пол-Эрска сносить надо. У самого-то, небось, тоже так же.

– Нет, Сергей Василич, ты, конечно, не прав. Как это нельзя сносить? Есть же правила и закон, и градостроительный кодекс почитай повнимательней. Но я так не хочу, надо по-хорошему, без скандала, безо всяких прокуратур и судов. Я по-дружески пришел предупредить тебя о сносе, а ты обижаешься, – с явной досадой разъяснял Просолин.

– Нет, ну, интересно вы рассуждаете, Семен Иванович. А если я не дам согласия, вы что, самовольно ломать начнете? – опять начал искать сигареты Ефимов.

– Ну, погоди, погоди. Ты не кипятишься. Право-то мы имеем. Но дело не в этом. Я же специально заехал, трачу свое

время, чтобы тебе растолковать, чтобы ты не жаловался потом, – заволновался Просолов.

– Давай так, Семен Иванович. Я не хочу никому мешать, но ты тогда тоже дай мне гарантии. Возьми, напиши мне расписку, что ты в двухнедельный срок, думаю, управишься, построишь мне новый сарай там, где я покажу, – предложил наилучший компромисс Ефимов. – А я даже готов его узаконить у архитектора, у мэра, у кого угодно, хоть у папы римского.

– Не-е-ет. Сергей Васильевич, ты уж меня за дурака-то не держи. Где ж это ты мне покажешь, интересно? Опять на незаконной территории? Какое я имею право строить там, где ты укажешь? Нормы и правила застройки пока никто не отменял. И потом, почему это новый? Только что согласен был на старый, а теперь уже новый ему подавай. Ты прямо обижаешь меня без зазрения совести. Не ожидал я от тебя, Сергей Васильевич, – все больше расстраивался Семен Иванович.

– Семен Иванович, а мне ничего от тебя и не надо. Оставьте в покое мой сарай. Меня он вполне устраивает. И пусть стоит, как стоял – не вам решать, как он узаконен, правильно или нет, – с издевкой ввинтил Ефимов. – А то получается: вы пришли просить моего разрешения и тут же мне угрожаете все снести и порушить.

– Я угрожаю? – загудел Просолов. – Ничего себе я угрожаю. А мне это и ни к чему. Я просто возьму да снесу твою рухлядь. А вы, Сергей Васильевич, ходите потом и доказывайте кому хотите свою правоту, а оскорблять меня не надо, я постарше тебя и, наверное, заслужил уважения. Что-то я тебя совсем не понимаю: незаконно захватил городскую территорию, построил на ней черт-те что, а теперь еще и спокойно оскорбляешь.

– Я оскорбляю? – показывая на себя пальцем, обиженно удивлялся Ефимов. – Я ничего не оскорбляю и никого не трогаю. А вы, Семен Иванович, ведете себя даже очень некрасиво. Очень некрасиво!

– Я некрасиво? – покраснел Семен Иванович. – Я, значит, некрасиво, а ты, значит, красиво занял самозахватом городскую общественную территорию, слепил на ней свой «шалман» и теперь еще обзываешь меня. Я такого от тебя не ожидал. Что-то я смотрю, ты уж больно высоко взлетел. Не пришлось бы потом больно падать.

Ефимов нервно выдвинул ящик стола, заглянул внутрь. Он и не помнил, чтобы когда-нибудь ему хотелось курить так, как в эту минуту. Он поднял стопки бумаг в шкафу, поднялся на цыпочки и заглянул наверх в надежде отыскать хотя бы одну сигареточку. Он старался двигаться медленнее, не выдавая своего раздражения, но нечаянно опрокинул подставку с карандашами, она повалилась, а карандаши и ручки радостно покатались по полу к ногам Семена Ивановича. Это с их стороны выглядело, по меньшей мере, предательством. Просолов шагнул назад и произнес фразу, которую прилично воспитанному человеку произносить нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах.

– Да ты не нервничай, Сергей Васильевич. Нервные клетки – они не восстанавливаются.

Нельзя ни в коем случае раздраженному человеку указывать на очевидное. Лучше уж глупому сказать, что он глуп, пьяному, что он пьян, а хаму, что он хам, но никак нельзя снисходить к раздраженному и указывать ему на его же раздражение.

– Я не нервничаю ничуть, – побледнел Сергей Васильевич. – Мне нервничать совсем нечего. Я не дам разрешения на снос строения, вот и все, а вы ничего мне не сделаете. И не надо со мной так разговаривать – это вас совсем не красит.

– А ты еще не дорос, Сергей Васильевич, чтобы мне такие советы советовать, – терял самообладание Просолов. – А я поступлю не нарушая закона и по справедливости. А ты, я смотрю, вознесся дальше некуда. Ну, я тебя предупредил, а ты теперь думай.

Просолин резко развернулся и вышел, вызывая тихо прикрыв за собой дверь, и это окончательно вывело из себя Ефимова. «Козел старый. Корчит из себя законника, а сам рабочих гнобит. Половина уже разбежалась. Довел до белого каления, скотина хренова», – продолжил мысленно диспут Ефимов. Но распаляться в одиночку никакого смысла не было, и Ефимов постепенно затих. К тому же он неожиданно обнаружил пачку сигарет, которая нахально лежала на подоконнике. Закурил. Успокоился. Начал звонить и отвечать на звонки. Звонил почти весь день и под конец рабочего дня так устал и проголодался, что ехал к дому с вожденной надеждой на сытное счастье.

Но подъезд к дому пригвоздил его простым и грубым открытием: «Совести у людей нет совсем». На месте его сарая рыжела глина, перемешанная с черноземом, разобранные тесины и шиферины лежали в разных кучах, а содержимое сарая отдельно. Это был момент истины, определение которой к Ефимову сразу не пришло. Такого вероломства в своей жизни он припомнить не мог. Самые говенные соседи теперь обрадуются и решат, что с Ефимовым так может каждый, что он никто в этом городе. Решился позвонить прокурору, авось в лоб за звонок не вдарит, но тот из равнодушия не советовал поднимать шума, так как, возведя сарай, Ефимов и сам нарушил закон. Звонки начальнику милиции и в городскую администрацию результатов не принесли – все в отпусках – лето.

Поочередно и параллельно мозг Ефимова заполняли разные варианты мщения Просолину, его вероломной организации, а также достойной и оригинальной защиты личного достоинства. Но все эти варианты выглядели либо несбыточными, либо откровенно уголовными.



ПО-ЛЮДСКИ

Первые два дня работы Александра Сергеевича Кутейникова на новом поприще прошли в бестолковой суете.

Его знакомили с уже знакомыми ему людьми, совали под нос какие-то пыльные папки с завязочками и без, настойчиво втолковывали про особенности, которые будут подстерегать его на каждом шагу. Женщины попутно стремились понравиться и одновременно продемонстрировать свою недоступность, будто Кутейников собирался ее сразу же нарушить. Секретарша с таинственным выражением лица принесла какие-то дурацкие анкеты, где надо было подчеркнуть пол, указать родственников, бывал ли за границей и владеешь ли иностранными языками.

Потом пришло время освоения рабочего стола – особенно значимого мероприятия, когда по очереди выдвигаются его ящички и ты по своему усмотрению что-то оставляешь, а в основном сваливаешь в урну полупустые стерженьки для ручек, грязные расчесочки, сломанные карандашики, кусочки печенья, исписанные книжечки, болтики, гнутые гвоздики, шурупчики и таблетки разных цветов. Этим ты, безусловно, демонстрируешь, что с твоим приходом все теперь будет по-другому, по-новому, современно, необычно и оригинально. Но вот и этот эпизодик заканчивается, и по нарастающей следуют звонки от друзей, нужных людей, коллег и соратников, приятелей и не очень, и тех, про кого ты забыл, казалось бы, прочно и навсегда. Все спешат разделить радость, ободрить, пожелать, выразить уверенность в дальнейшем сотрудничестве, наконец, засвидетельствовать свое почтение и личную преданность.

От всего этого Кутейников ходил возбужденным и слегка ошеломленным, неестественно причесанным и чрезмерно галантным, будто его позвали на должность искусствоведа или доктора самых что ни на есть изящных наук. После щедрых авансов в свой адрес Александр Сергеевич уже опасливо начинал подумывать: а сможет ли он оправдать оказанное ему доверие и впишется ли в коллектив с давно перекившимися устоями и традициями.

И вот с утра третьего дня на посту заместителя Кутейников был приглашен в кабинет непосредственной начальницы и долго ожидал, когда она доведет себя до бешенства обсуждением какой-то ерунды. Наконец, она в сердцах шваркнула трубкой по телефону и, трясая головой, резюмировала:

– Де-билы! Ну, вот как так работать, Александр Сергеевич? Скажи, а? Я ему об одном, а он мне условия свои ставит... Ну, не наглец? А? То ему не так, другое не эдак... Распустились, твою мать... Прости, Господи. Зла не хватает. Позагадили весь город и радуются.

Пыл начальницы резко шел на убыль. Гневные морщины, те, что были не отпечатком пережитого, а приобретением руководящих лет, постепенно сглаживались.

Наконец, она считала с лица Кутейникова логичный вопрос: «Зачем звала?» Лицо начальницы вновь обрело озабоченный вид:

– Ну, как? Осваиваетесь, Александр Сергеевич? Ничего-ничего. Постепенно войдешь в курс дела. Тут вот с утра одна забота привалила. Бомж один тут похарчился... Третьи сутки вроде в морге лежит, а хоронить некому. Эти бомжи у меня уже в печенках сидят. Сил моих больше нету. И мрут, и мрут без конца. Вот теперь хоронить. А на что хоронить, черт его знает. Он, этот покойный, из Панино родом. Там у него и мать, и сестра живые. Звонили-звонили, пять дней разыскивали. Всех на ноги подняли, пока родню отыскивали. А что толку? Матери за семьдесят. Она уже и забыла думать про беспутного сына, а сестра-паразитка заявила: «Как хотите, так и хороните – мне он не нужен». В общем, Сергеич, займись-ка ты всеми этими похоронами – гробом, крестом и прочим. Возьми похоронную тысячу в ЗАГСе. Ее, конечно, на все не хватит. Только за одно вскрытие пятьсот сдерут. Обалдеть можно. Чего их вскрывать? И так любому ежу понятно, отчего Богу душу отдал. Шлабунялся по подвалам, пил без ума все подряд, нигде не работал, ни кола ни двора – вот и отдал концы. Ну, ладно. Поэкономней там, на все по минимуму. Сколько не хватит – порешаешь с бухгалтером. Занимайся.

Полученное задание, конечно, не обрадовало Кутейникова, но и как-то не слишком расстроило. В конце концов, надо же было с чего-то начинать счет полезных дел.

Перво-наперво Кутейников позвонил в морг и после приветствия сразу же выслушал длинную и гневную тираду о том, что бомж лежит уже больше недели, что хо-

лодильник работает отвратительно, что он уже «вовсю возьмет» и никому нет дела, что патологоанатом работает в невыносимых условиях и что надо сразу везти шестьсот рублей. Александр Сергеевич, как мог, успокоил несчастную женщину на другом конце телефона, посочувствовал адским условиям такого необходимого буквально всем труда и столкнулся за пятьсот пятьдесят забрать бедолагу из морга уже после обеда.

После обеда, однако, забрать покойного никак не получилось. Много времени ушло на оформление тысячи рублей в ЗАГСе, на заказ гроба и креста в лесхозе, покупку обивочной ткани и прочие дела. Александр Сергеевич потратил и свои четыреста рублей, сжег полбака бензина на своем «жигуленке», пока увязал необходимые вопросы. Вся похоронная смета трещала по швам. Знакомые предлагали Кутейникову для удешевления скорбной процедуры купить полиэтиленовый мешок для мусорных отходов и в нем закопать бомжа – какая ему разница, в чем лежать. Но Кутейников твердо решил, что своего «первого» он похоронит по-людски и, как положено, в гробу.

На другой день оставалось встретиться с могильщиками, договориться с моргом, отвезти труп на кладбище, где и предать его земле. В половине восьмого на ступеньках администрации Кутейникова поджидали двое мужчин. Несмотря на возобновляющуюся жару, один из них был в пиджаке, а другой – в толстом свитере. Это были местные колдыри-алкоголики, давно немые, небритые и нечесанные, с синюшными лицами и носами макак. Впрочем, несмотря на очевидные следы деградации, колдыри вели себя вполне корректно, выказывая даже некие претензии на этикет:

– Здравствуйте, Александр Сергеевич. Поздравляем вас с новым назначением... Гы-гы... Вот услышали, что вам помощь нужна, и решили прийти. Как не помочь?

Свой человек-то. Такое дело. У нас и лошадка имеется. Так что, ежели что, и отвезем, и похороним, будьте любезны. Заделаем все в лучшем виде...

Кутейников хорошо знал, с кем собирается сотрудничать, и потому честно и безо всякой дипломатии объявил, что у него на все про все только триста рублей. Похоронщики посмотрели друг на друга, помолчали, очевидно соображая, сколько самогона можно купить на три сотенных, и без проявления радости согласились.

К обеду могила была выкопана там, где указали. Требовалось теперь сопроводить усопшего в последний земной путь. После сытых домашних разносолов Кутейников решил ехать к моргу, беспокоясь, как бы не подвели мало надежные компаньоны.

У небольшого, печально известного здания Кутейников заметил повозку и четверых мужичков. Все они в разной степени были ему знакомы. Александр Сергеевич подозвал старшего похоронной команды и попросил переложить покойного в гроб. Он просил сделать это в его отсутствие, так как слишком не любил всех этих скорбных церемоний. В душе он даже и побаивался покойников. Старшего опередил колдырь в ядовито-зеленого цвета свитере:

– Сергеевич, даже не сомневайся. Погребем честь по чести, как нельзя лучше. Токо вот рублей пьются ребятам бы на пивко – здоровье поправить.

– А остальное – это потом, как все, значит, завершим, – добавил старшой.

Кутейников молча достал деньги, еще раз смиренно попросил не подвести и отбыл на работу. Из его кабинета со второго этажа хорошо просматривалась дорога, по которой ожидалось следование траурной телеги. Можно, к примеру, говорить по телефону и одновременно видеть дорогу. Прошло минут сорок. Ни телеги, ни лошади, ни покойного. Закралось тревожное подозрение, что компаньоны

обманули-таки, что теперь где-нибудь валяются у морга пьяные и довольные.

Кутейников решился ехать навстречу. На прежнем месте стояла все та же телега. Белая кобыла с грязными боками, отгоняя наглых мух, мотала головой и хвостом и била задними ногами, силясь прогнать с отвислого пуза надоедливых паразитов. Иногда она при этом цепляла кривые оглобли, и телега тряслась и попиналась назад.

Раздраженный Кутейников шагал к моргу, оставив машину поодаль на дороге. Когда до лошадиной морды оставалось не более пяти метров, слабый ветерок донес тяжелый запах.

«Хоть бы коняку от дерьма отскребли», – подумалось ему. Но тут же он сообразил, что вонь исходит не от лошади, а от гроба, который он только теперь увидел в повозке. Развитое воображение и фантазия впечатлительного человека мгновенно вызвали приступ тошноты. Кутейников успел пробежать десяток метров до кустов ирги.

Его отчаянно рвало и трясло. От натуги он побагровел и:

– Что такое, Александр Сергеевич? Во, что проклятая жара с людьми-то делает! Не каждый ее даже выдержит, – сочувственно произнес старший могильщик.

– Мы, эта, тут проколупались что-то. Пока одели его, пока переложили. То, се. А из него уже все текет. Мрак, короче. Ну, и, сам понимаешь, ребятам, чтоб запах отбить, пришлось налить. Но больше, Сергеевич, ни грамма. Пока не погребем в лучшем виде. Ты за это даже не сомневайся, – успокаивал старший могильщик. – Только вот что, Сергеевич, дай еще рублей питьсят, ребятам на пиво. Сам видишь, вонь какая стоит.

Кутейников обреченно достал деньги и, жалостливо глядя в глаза колдырю, попросил кроме пива ничего не покупать. Получив самые искренние заверения в том, что «ребята не подведут», Кутейников поехал домой, хорошенько

вымылся в летнем душе и продезодорантился. Ему все чудился навязчивый тлетворный дух.

На работе он первым делом поинтересовался у коллег, не видал ли кто лошади с гробом. Все дружно отрицали. Еле сдерживая себя от злой досады, Кутейников вновь сел за руль и выехал предполагаемым маршрутом. В центре города, у дорожного кольца, он увидел отъезжающих от киоска компаньонов. Двое из них сидели прямо на гробе, а двое сбоку. В руках у каждого было по бутылке пива. Редкие прохожие озабоченно оглядывались по сторонам, зажимали носы и торопились перейти улицу. Похоронщики же вполне мирно беседовали между собой о небывалой жаре и несправедливой жизни.

«Ну, слава Богу, едут, – облегченно вздохнул Кутейников. – Авось теперь за город и до кладбища потихоньку доберутся. Хоть бы побыстрее. Вонища на весь город, а им хоть бы что – проспиртовались».

На рабочем месте долго сидеть не пришлось. Зашел один из сослуживцев, посмотрел вместе с Кутейниковым в окно на проезжавшую кобылу и равнодушно, но категорично изрек:

– Я этих знаю. Эти могут и не довести. Свалят в кювет где-нибудь в кустах – и до свидания. Им-то что? А вы что, полностью с ними рассчитались, Александр Сергеевич?

Сконфуженный зам нервно хлопнул по карману. Его и самого глодала мысль: «А вдруг...»

– Еще двести рублей за мной. Не должны вроде обмануть. Я их тоже вроде знаю. Так, конечно, забулдыги, но в принципе безвредные. Просто спились, растеряли семьи и работу, а так вроде нормальные. Один «сварным» был на мехзаводе, другой в котельной на все прорывы безотказный. А там черт его знает.

Сослуживец продолжал отстраненно и спокойно рассуждать:

– Вот и я говорю, кто их знает, что у них на уме? Возьмут вон, с моста в речку сбросят. Будете думать, что закопали, а гроб плавать будет. В наше время никому верить нельзя – надуют токо так.

Сослуживец вышел. Кутейников звонил по телефону, перекидывал листочки настольного календаря, курил, а беспокойная тревога все глодала и глодала: «А черт его знает... Верить нельзя...»

Спустя час Кутейников вновь двинулся похоронным путем. Лошади с мужиками нигде не было видно. Он даже опустил стекло, снизил скорость и старался уловить запах. Но на всем пути его нос унюхивал лишь резкий запах свиного навоза да всепроникающую гарь асфальтового завода. Только у ворот кладбища он узрел знакомую коняку. Поводья были брошены, и лошадь, неразнузданная, щипала редкую травку, двигая за собой телегу. Завидя Кутейникова, она помотала головой, равнодушно отвернулась и вновь принялась щипать траву. Кутейников прошел к окраине крестов. Увиденное поразило его. Могила была засыпана, крест с табличкой стоял абсолютно ровно, а сам холмик был оформлен идеально правильным прямоугольником со скошенными боками, аккуратно и со старанием обложенными ровными пластами дерна. Травинка к травинке. У подножия креста лежал пучок цветущей сурепки.

Кутейникову приходилось видеть могилы и ухоженней, и намного богаче, но эта просто поражала своей классической простотой. Чиновник готов был прослезиться. Ему сделалось стыдно за низкие подозрения и недавнюю злость на могильщиков. Навстречу ему с травы поднялся старшой:

– Ну вот, Сергеевич. Вот и все. Пусть, как говорится, земля ему будет пухом. Пусть теперь он лежит, а мы свое дело сделали.

Александр Сергеевич почти торжественно протянул сотенные, растроганно постучал по плечу старшого:

– На, возьми. Честно заработали. Не подвели. Вон как могилку обиходили. Молодцы мужики.

В ответ старшой степенно согласился:

– Да что там? Нам авось нетрудно. Авось не будет покойный, гы-гы, на нас в обиде. Авось, когда и мы подохнем, кто-нибудь и нас также зарует. Пусть не обижается – все по-людски. Надо будет – обращайся, Сергеевич. – И, подумав, добавил: – Местов-то вон еще скоко...

Кутейников вышел с кладбища, сел в машину, с удовольствием закурил. Им завладело настроение глубокой удовлетворенности. Все волнения улеглись. Дело было сделано. Его не обманули, а, главное, все было исполнено по-христиански, по-людски.





ЮБИЛЯРША

В последнее время очень многие у нас обратились к религии и разного рода мистике. Стало чрезвычайно модным поздравлять с религиозными праздниками, бывать в церкви, нырять на Крещение в прорубь, освящать жилье, не здороваться через порог и прочее, и прочее. Но я себя отношу к людям светским, поскольку не склонен как-то

верить в жизнь души после смерти телесной, а тем более в предрассудки. Мне лень обходить столбы с укусами, как это делает половина жителей нашего городка. Я напрочь не верю в опасность кошек, перебегающих дорогу перед моим носом. Признаться, меня гораздо больше волнуют женщины, чем пустые ведра в их руках. И, может быть, оттого сильнее мой интерес к рассказам тех, кто якобы ввявь или точно ввявь сталкивался с проявлениями чего-то необъяснимого и не вписывающегося в здравый смысл и мое миропонимание. Не просто любопытны, но как бы и притягательны рассказы людей известных, грамотных, не способных, как представляется, к фантазированию и сочинительству забавы для.

На той неделе мне случилось быть с поздравлениями в кабинете одной авторитетной особы. Повод для визита сложился довольно веский – ее юбилей. Я с легким опозданием спешил засвидетельствовать свое почтительное внимание от лица всей нашей организации к даме, которую, в сущности, знал лишь по отзывам о ней моих знакомых и ответственных товарищей.

Несмотря на «полтинник», Татьяна Семеновна выглядела вполне привлекательно: ухоженной, со вкусом и по-современному одетой, улыбчивой и приветливой. А уж ее пышной шевелюре, здоровому цвету лица и прямой, с достоинством, походке и вовсе могло завидовать немалое число молодых прелестниц. В таких случаях говорят, что женщина сумела себя сохранить. Но меня как человека заметно более молодого интересовала вовсе не физическая форма юбилярши, а нечто совершенно иное. Татьяна Семеновна примерно годом ранее похоронила своего супруга – довольно известного человека, которому лично я, так же, как и кое-кто еще, был обязан попаданием в обойму прилично оплачиваемых, по провинциальной мерке, руководителей. Поэтому мое внимание и благожелательное распо-

ложение к вдове и проявление любопытства относительно ее морального самочувствия были вполне искренними и естественными.

После банальных фраз поздравления, пожеланий и чмоканий в щечку с вручением скромного подарка юбилярше я собрался было уходить, но Татьяна Семеновна настоятельно просила задержаться. Ожидался приезд высоких чиновников районного ранга с последующим застольем. Интонация приглашения звучала вполне искренне. Я никуда особенно не торопился, а общество ожидаемых гостей мне было хорошо знакомо и вполне подходило. Мне подумалось бестактным взять и уйти, вспомнился Высоцкий с его «а что не пить, когда дают», и я дал себя уговорить.

Татьяна Семеновна позвала свою заместительницу Леночку – молодую, обаятельную, более чем привлекательную молодую женщину, и мы втроем довольно успешно собрали небольшой стол с пикантной закуской и качественной водкой. Один из желанных гостей предупредительно позвонил и с извинениями сообщил, что неотложные дела заставляют его задержаться примерно на четверть часа. Все единодушно сочли причину задержки вполне извинительной и решили, что этика требует, чтобы мы подождали.

Надо было как-то заполнить время ожидания по возможности нескучной беседой. Общей темой могла стать только одна – о покойном супруге Татьяны Семеновны. Я стал расспрашивать, видит ли она его во сне, справляется ли с внезапно постигшим горем и как поменялся ее взгляд на окружающее.

– Знаете, Петр Петрович, а я очень часто вижу его во сне. Ну, так, в среднем примерно два раза в неделю. Это, знаете, удивительно. Мне не требуется даже прилагать каких-то особых усилий. Просто захочу, и той же ночью он является ко мне. Мы разговариваем, общаемся с ним на самые разные темы, обсуждаем наши проблемы.

Татьяна Семеновна горделиво качнула ухоженной головкой, коснулась ручкой эффектно ярких волос и продолжила:

– Он очень внимателен ко мне, а взгляд его всегда полон какой-то жалости, что ли, и как бы извинения за то, что его нет рядом. Это удивительно. Знаете, он как бы продолжает жить и присутствовать во всем.

Татьяна Семеновна в легком волнении поправила салфетку, нежно провела по ней рукой с дорогим перстеньком и, глядя мне в глаза, продолжила еще более убедительно:

– Да вы знаете, Петр Петрович, иногда я просто физически чувствую его присутствие в доме, в беседке или в огороде. Один раз прихожу с работы, открываю дверь и чувствую, что он дома. Это непередаваемо. Чувствую, что вот он рядом и всё. Знаю, что он где-то здесь.

Татьяна Семеновна перевела взгляд с меня на Леночку, проверяя, верим ли мы ей и готовы ли выслушать нечто более таинственное и сокровенное. Ее глаза излучали нежность и завораживающую мечтательность с оттенком неуловимого озорства. Она, понизив голос, продолжала:

– Знаете, мне никогда не бывает страшно. Я чувствую его дыхание сзади, слышу его явные шаги. Даже слышно бывает, как он спускается ко мне по лестнице. Я другой раз ощущаю запах и тепло его тела. Все так явно, до жути реально. Даже какое-то волнение иной раз охватит. Просто волны какие-то необъяснимые исходят. Так интересно и ни капельки не страшно.

Татьяна Семеновна снова поочередно посмотрела на нас и вдруг озорно засмеялась:

– Но вы не подумайте чего. А то решите, что у меня крыша едет. Вы ведь знаете: я женщина сильная, и уж чего-чего, а собой владеть умею. Я никогда не была склонна ныть или жаловаться на судьбу. Как есть, так и есть. Значит, так тому и быть суждено, и стенать тут бесполезно.

Просто, знаете, я никогда не отмахивалась от него и не думала о муже как о мертвом и постороннем. У нас, знаете, всегда были самые теплые отношения. Я-то знаю, что он любил только меня одну всегда.

Последнюю фразу Татьяна Семеновна произнесла почти с подчеркнутым вызовом, будто мы позволили себе открыто усомниться в честности ее слов. Мне стало неловко. Я готов был начать заверять рассказчицу в том, что мы ни на йоту не усомнились в реальности ее ощущений, но Татьяна Семеновна опередила меня, продолжив свои откровения:

– При всей его сановности и властности, знаете, он был очень нежным и ранимым человеком. Жена, дом, дети – для него это было все, в принципе. Только я знаю об этом. Хотя, конечно, ходили и какие-то сплетни. Люди-то ведь мы все разные. Другой раз наплетут – только слушай. У нас ведь как любят: если у кого-то слишком хорошо, то обязательно влезут в семью. А при его работе и тем более.

Я пребывал в некотором смятении от подкупающей исповедальности речей Татьяны Семеновны. Не решив еще, верить или не верить услышанному, я спросил:

– А во сне Вы помните, Татьяна Семеновна, что его на самом деле нет? Что он там...

Татьяна Семеновна удивленно двинула бровью:

– Ну, конечно, помню. Я всегда об этом помню, но общаюсь с ним как с живым. А вы знаете, как он помогает мне? Дает советы, предостерегает от нежелательных шагов, приободряет частенько меня. Он это всегда умел. Я как-то спрашиваю его: «Как ты там живешь, родной мой?» А он мне и отвечает так, как-то так, знаете, радостно, как-то весело: «А мне здесь очень хорошо. Ты не подумай, что у меня здесь нет никаких дел. Их здесь еще и побольше. У меня здесь много друзей и помощников. Мы следим, все видим и помогаем вам всем и всему нашему району. Вот пройдет еще совсем немного, и дела у всех пойдут в гору.

А жить вы все будете намного лучше и обеспеченнее, намного даже проще».

Татьяна Семеновна замолчала на секунду, наморщила лоб и подтвердила:

– Да, так, между прочим, и сказал: «Жить будете намного лучше».

Наша юбилярша поднялась за столом, посмотрела на улицу, коснулась золотой цепочки на шее, вновь села и возобновила свое повествование:

– Знаете, Петр Петрович, удивительное чувство – это общение с ним как с живым. В нашей семье были особые отношения. Его ведь никогда не было. Он всю жизнь на работе. Заскочит и с порога шумит: «Мать, давай на стол по-шустрому. Мне некогда». Я уже ко всему всегда готова. Привыкла. Бегом разогрею, что нужно. Быстренько соберу поесть. А иногда он буквально с плиты ел. Все на бегу. Все ему некогда было. И так всю жизнь.

Лицо рассказчицы резко посуровело. С него испарилась благодушно-мечтательная улыбка, на глаза легла тень грусти, ладони рук крепко сцепились. Казалось, еще мгновение, она даст волю слезам. Однако Татьяна Семеновна быстренько справилась с собой и вполне контролировала свои эмоции:

– Вы знаете, Петр Петрович, мне часто бывает очень обидно. За что он отдал жизнь? Чему он ее посвятил? Всю жизнь он, как солдат – в струнку. Всю жизнь кому-то что-то от него надо было. Всю жизнь надо куда-то ехать, с кем-то воевать, кого-то выручать, перед кем-то отчитываться, за что-то переживать. И звонки. Эти звонки днем и ночью по любому делу. Только вернется, звонок – надо опять ехать. Там не так, здесь какая-то фигня. Этот напился. У того – не слава богу. И так вся его жизнь. А как подумаешь: на что же она потрачена? Какой результат? Что в итоге-то? Растратил себя для всех – и всё. Нет, вы

не подумайте, я не обижаюсь на людей. Они ко мне стали относиться даже лучше, чем раньше. От кого я и не ожидала, и те как-то теперь внимательны ко мне. И свекровь со мной постоянно, и дети, и моя мама. Все очень добры и внимательны ко мне. Грех жаловаться на людей. Я всем благодарна. Вот день рождения. Юбилей этот. Не хотела собирать стол. Но вы представляете, уже три дня то одни придут, то другие. Дети с внуками, сваты – все побывали. Не забывают ни простые люди, ни начальники.

Татьяна Семеновна внимательно осмотрела свои часики и предложила:

– Хватит ждать их. Время идет, а мы сидим у стола, слюни глотаем. Ждать и догонять всегда противно. Думаю, гости не обидятся и еще догонят нас. А? Один мой знакомый в таких случаях всегда спрашивает: «Вы видели, чтобы у собаки на шее колбаса висела?» Давайте начинать. Петр Петрович, открывайте бутылку, наливайте без стеснения. Вы на нас с Леночкой не смотрите. Мы выпьем, сколько сможем, а вы – сколько захотите. Давайте все по-простому. Не обижайтесь, если что не так. Вот бутерброды с рыбой. Вот колбаска, а, если хотите, грибочки – проверенные. Сама мариновала. Такие хорошие в этом году получились. Мои дети ели, хвалили. Ну, что? Давайте.

Татьяна Семеновна с удовольствием подняла рюмку. То же синхронно сделала Леночка. Женщины смотрели на меня, и я догадался произнести короткий тост за хлебосольную хозяйку стола и по совместительству юбиляршу. Мы душевно двинулись стакашками и осушили их без затей. После закуски со взаимными подкладываниями друг другу салатов, не снижая темпа, повторили. У женщин зарозовели щеки. Атмосфера в кабинете стала окончательно домашней, непринужденней, располагающей к общению. Разговор перелетал с одного на другое, не задерживаясь на чем-то подолгу, и как бы вполне

естественно вернулся в прежнее русло, поскольку тема осталась неисчерпанной.

Взглянув на часики, виновница застолья картинно взмахнула рукой и вернула разговор в прежнюю колею:

– Вы знаете, теперь по прошествии времени я все больше думаю, что покойный мой супруг предчувствовал свою гибель и готовил меня. В последнее время он часто говорил: «Вот меня не будет, а ты сделай вот это и вот так-то». Его советы помогают мне очень часто. Я беседую с ним как бы. Вы не поверите, но происходят поразительные вещи. Я иногда думаю, не глючит ли меня? Как-то этим летом я набрала целую кастрюлю клубники. У нас она такая крупная и урожайная, просто прелесть. Она у нас особого сорта и такая вся сладкая, просто исключительная на вкус. И вот захожу я с этой клубникой в дом, а он сидит за столом у окна с голым торсом. Сидит так по-простому там, где он обычно любил сидеть. И он так как-то весело посмотрел на меня и говорит: «Тань, дай клубнички-то!» А я ему говорю, как обычно: «Ух, ты, хитрый какой. Сходи сам да набери. Чего не сходишь-то?» А потом сама и думаю: «Стоп. С кем это я разговариваю? Его же нет». Понимаете, до чего дело доходит?

Татьяна Семеновна переставила с сейфа тарелочку с резаными кольцами-апельсинами и в нарочитом возмущении подняла бровь:

– Ешьте, ешьте. Что ж вы ничего не едите? Петр Петрович, вы с нами не равняйтесь. Мужчины должны помногу есть. Вон и мой тоже любил и поесть, и выпить. Я всегда была готова принять любую компанию. Он любил шумные компании. Ну, вы об этом знаете.

Татьяна Семеновна пристально посмотрела на Леночку и рассеянно, будто с трудом вспоминая, вновь заговорила:

– Один раз он опять появился. Такой бодрый, похудевший, моложавый и говорит мне. Он всегда так с юмором,

весело ко мне обращался: «Слушай, мать. А что это ты в последнее время унылая ходишь? Что это ты руки опускаешь? На тебя это не похоже. Ты всегда для меня примером была. Всегда меня приободряла и встряхивала. Ты смотри у меня. Держи хвост пистолетом. Не раскисай». Можете себе представить? Все наяву. Все, как всегда. Знаете, я никогда не боялась его. Никогда. Мне всегда хочется, чтобы он подошел ко мне, обнял бы, проявил заботу... Один раз приснилось мне, будто забежал он с какого-то совещания, что ли, и говорит: «Давай я помогу тебе прибраться в комнате. Давай. Давай, а то я спешу и мало времени. Взял веник, подмел быстренько, помыл всю посуду, протер, расставил на места все и так посмотрел любовно и жалостно. Он как бы жалеет и извиняется за что-то всё время. Просто вот не поверите, душа переворачивалась во мне. Какой всё-таки удивительный был человек!

Татьяна Семеновна остановила себя, поднялась с места:

– Знаете, что? Мы их, наверное, сегодня не дождемся. Пусть как хотят, а мы давайте-ка еще по одной выпьем. Что так сидеть-то? Вы закусывайте, закусывайте, Петр Петрович. Леночка, ты что-то и совсем ничего не ешь? Одни огурцы. Что в них толку-то? Ты ж не постишься? Нет? Ну, что поделаешь, если день ангела у меня всегда на Великий пост? Думаю, Бог мне простит. А не отмечать, не угощать друзей я тоже не могу. Как-то не по-людски. Ешьте, ешьте. Всё доброкачественное, аппетитное. Без особых разносолов. По-доброму и от души.

Мы с Леночкой наперебой поспешили заверить Татьяну Семеновну в том, что все удалось на славу и что ее умение угощать выше всяких похвал. Я обновил содержимое непорожних стаканчиков, а себе, несмотря на протесты дам, налил лишь половину.

– Ну, давайте теперь выпьем за светлую память моего дорогого супруга, – сама предложила веселая вдова. Мы

живо поддержали, не чокаясь. Молча и неспешно опрокинули содержимое рюмок.

Закусив копченой курятинкой, я захотел теперь не только из вежливости, но и из искреннего любопытства ради продолжить прерванный разговор:

– А вот интересно, Татьяна Семеновна, проявлял ли покойный когда-нибудь недовольство вами или, может, укорял когда в чем? И как вы сами расцениваете ваше с ним такое... м-м... удивительное общение?

Татьяна Семеновна еще более оживилась. Она, видно, обрадовалась моему вопросу, подалась вперед, придавив лежавшие на столе руки своей пышной грудью. Понизив голос и попеременно переводя взгляд с меня на Леночку, она отвечала:

– Нет-нет. Никогда ни тени укора. Никогда и намека на недовольство мною. Вы знаете, пусть не за столом будет сказано, но я вам даже открою...

Татьяна Семеновна умолкла, глядя в стол. Она как бы совершала невидимое насилие над собой, не веря, что ей следует быть до конца откровенной:

– Даже и не знаю, стоит ли говорить об этом? Вы не поверите мне, но как-то он явился ко мне, и взгляд его был ну совсем, совсем особенный и просящий такой. Он попросил меня: «Можно я лягу с тобой в постель?»

Считав с моего лица недоумение и неверие, Татьяна Семеновна нервно поправила цепочку на румяной груди и, опустив ресницы, произнесла:

– Ну... Можете понять мое состояние? Он – не живой – попросил у меня... ну, вы понимаете... близости. Я говорю ему: «Но как же я смогу? Ты ведь...» А у самой все заглохло внутри. Как же так можно? Но он настаивал. Он любил только меня одну, что бы там где ни говорили. Я это точно знаю. Он один только умел убедить меня: «Я соскучился по тебе. Я так давно с тобой не был. Ты не мо-

жешь мне отказать». И ...понимаете? Как вам это сказать? Вы не поверите, но у нас с ним это произошло, как наяву... Всё получилось... как было... как раньше. Понимаете, о чем я? Это вообще... Это что-то за рамками блаженства.

Татьяна Семеновна подняла полные мечтаний глаза. Возникло достоверное чувство, будто она унеслась в своих грезах в запредельные неги, будя в себе отголоски удовольствия женщины от соития с любимым мужчиной.

До меня не сразу дошел смысл только что услышанного, а когда я уловил и осознал его и интуитивно глянул на Леночку, то обнаружил ее замершей, совершенно потерянной и потрясенной. В ее взгляде промелькнули испуг, зависть и какая-то смесь враждебного неверия, брезгливости и, может быть, даже ненависти одновременно. От внутреннего напряжения она в секунду покраснела. На ее шее вспухла и некрасиво проявилась вена. Она еле дышала и сидела с опущенными плечами, не поднимая ресниц, боясь шелохнуться. Какая-то напряженная работа происходила в ее душе. Я пораился такой ее реакции не меньше, чем самому рассказу Татьяны Семеновны: «Неужели так по-детски впечатлительна?» Жалость к Леночке вызвала досаду на Татьяну Семеновну: «Для чего она все это нагородила. Неужели вся эта жуть может походить на правду?» Наверняка и у меня в этот момент был вид разочарованного и обманутого человека, потому что юбилярша с еще большим нажимом, словно развивая произведенный эффект, добавила:

– Да, я понимаю, в такое нельзя поверить и трудно все представить, но у нас еще раз было это уже после, – менее уверенно, но уже без эмоций, совершенно овладев собой, настаивала рассказчица.

– Я просто улетаю.

Последние фразы прозвучали почти театрально и разрушили непринужденный интерес общения. Находчивый

в других ситуациях, я не находил ни слов, ни иного способа хотя бы как-то завершить разговор, не выказав при этом своего полного разочарования. Этикет и элементарная вежливость требовали разрядки, и быстрее всех за нее взялась сама Татьяна Семеновна. Она встала, поправила роскошные розы в хрустальной вазе и прежним тоном радушной хозяйки стола попросила:

– Наливайте, Петр Петрович. Давайте выпьем за меня и за вас, ребята. Чтобы у вас всё было хорошо. Хватит нам бед и несчастий. Хватит. Жизнь коротка. Налейте по полной, и давайте все выпьем за сказанное по полной.

Я повиновался молча. Никто не возразил против ударной дозы. Сомкнули и осушили стаканчики мы с Леночкой, однако без прежнего энтузиазма. Но Татьяна Семеновна сделала это с афишированным удовольствием. Казалось, что она вот-вот причмокнет и попросит налить ей еще, вдогонку. Но она закусила грибочками и нарочито весело и громко предложила:

– Петр Петрович! Попробуйте-ка грибочков! Ну, что же вы? Не бойтесь – не отравлю. На себе проверяла. Ешьте, ешьте. Я люблю, когда мужчины много едят.

Отвлеченный призывами именинницы, я тем не менее заметил, что Леночка ожидает паузы в разговоре. Она тихонько поднялась за столом и, чуть повернув голову в сторону Татьяны Семеновны, но глядя перед собой в салат, еле слышно произнесла:

– Я, пожалуй, пойду... Дела. Спасибо за угощение, Татьяна Семеновна. – И, чуть повернувшись ко мне, Леночка так же негромко обронила:

– Спасибо вам... за приятную компанию...

Последняя фраза Леночки была грубо, но кстати прервана. Распахнулась дверь, и в комнату ворвались долгожданные гости с букетом роскошных гвоздик, шумными поздравлениями и смачными поцелуями. Юбилярша в тон

им благодарила и извинялась за то, что застолье началось до их появления. Опоздавшие шуршали обертками, потирали руки и возбужденно галдели:

– Ничего-ничего. Что вы? Что ты? Какие проблемы? Работа есть работа.

– Мы ненадолго, не волнуйся. Чисто символически и уйдем.

Когда все расселись и вновь были подняты стаканы, я не обнаружил рядом Леночки. Она растворилась, словно и не приходила. Меня уже забирал хмель. Я стал прощаться со всеми, несмотря на бурные протесты с просьбами остаться. Компромиссом послужил лишний стаканчик, после которого мне было позволено выйти.

На улице неспешно закулив, я вдруг вспомнил давний-давний, порядком забытый слушок о том, что у покойного мужа Татьяны Семеновны был, кажется, скандальный романчик именно с Леночкой. Из-за него она вроде бы собиралась уйти с работы или даже переехать куда-то или что-то в этом роде. Как ни старался, но ничего больше извлечь из тайников своей памяти я уже не смог.

Вкус у покойного, конечно, был. Леночка была замечательна и фигурой, и внешностью, и мягким характером. Все было при ней, и, наверняка, жизнь ее сложилась бы достойнее и благополучнее, но она пережила страстную любовь еще в школьные годы, рано забеременела, родила сына, а его отец по каким-то причинам не захотел обременять себя семейными заботами. Замужем Леночка так и не побывала, хотя многие мужчины с нескрываемым вождением поглядывали в ее сторону. Начать все сначала почти невозможно в маленьком городке, где все потенциальные женихи знают истории всех потенциальных жен.

Я докуривал и не переставал удивляться: «Неужели весь застольный рассказ – сплошной вымысел? Неужели Татьяна Семеновна, почти заставив меня поверить в реаль-

ность мистического общения с умершим супругом, просто использовала мою вежливую доверчивость, а весь смысл ее импровизации был направлен совсем на другого человека? Неужели это стало способом отмищения за свою когда-то поруганную честь и прежде испытанное унижение? Разве всё происходившее было театром одного актера? Но тогда как безупречно, психологически выверено, как талантливо сыграно. Но, быть может, вдова и сама уже давно верит в реальность нереального? Может быть, продолжение их отношений с умершим – способ ее теперешнего бытия?»

Но кто ж их поймет, этих самых женщин?..



ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ

Тем днем мне требовалось явиться в одну из областных контор с безнадежно просроченными бумагами. Предстоял неприятный разбор моего отношения к делам с извинениями, оправданиями, согласованиями и прочей нуднотой. Места на автостоянке у администрации не нашлось, и поэтому пришлось завернуть во дворик соседней пятиэтажки.

Внутренний дворик оказался самым обыкновенным, типовым, ничем не примечательным, каких в нашем областном центре встретишь немало. Единственная ценность таких дворов – тишина и приятная прохлада в летний зной. И то и другое нравится нам, провинциалам, не понимающим смысла суетливой толчеи и непрерывного шума больших городов.

До назначенного мне срока оставался примерно час времени. Водитель казенной «Волги» по каким-то своим делам убыл на рынок, а я не без удовольствия опустил на ствол толстого, давно спиленного тополя, ослабил удавку галстука, вальяжно закурил и развернул известную скабрезным содержанием и такими же снимками газетку. Во дворе наличествовало физически ощущаемое блаженство. Меня здесь никто не знал, никто ничего от меня не требовал и ни к чему не обязывал. Можно было безмятежно бездельничать, не опасаясь понизить авторитет.

Но совсем скоро мое внимание привлек громкий разговор двух с виду пятидесятилетних со следами вредных привычек женщин. Имя той, что стояла на балконе третьего этажа, мне было неизвестно, но о том, как зовут ее приятельницу, что находилась под балконом на улице, несо-

мненно, знали все, кому случилось, как и мне в сей же час, оказаться во дворе.

Стоявшая на балконе давала ценные советы той, что, задрав голову, слушала ее снизу.

– Любочка, ты гляди, кошелек-то не потеряй. Ладно, Любочка?

– Ладно, – отстраненным баском отвечала Любочка.

– А ты далеко-то не ходи, а туда за угол. Там всё, сколько надо. Любочка, ты поняла хоть меня? Поняла хоть, куда идти-то?

– Ладно, – в том же тоне отвечала ей товарка.

– Любочка, ты кофточку. Возьми, говорю, кофточку-то. Тут прохладно. Не дай бог еще заболеешь, – участливо настаивала стоявшая на балконе. Не дождавшись реакции подруги, она решительно и скоро сняла с себя тяжелую сиреневую кофту, далеко не новую, но, очевидно, очень теплую.

– Зачем это? – вопрошала Любочка, подняв припухшее лицо с отвислыми щеками и ярко накрашенными губами.

– Говорю тебе, прохладно! Простынешь зазря. На! Лови, Любочка, – стоявшая на балконе решительно метнула кофточку вниз. Кофточка зацепилась за металлический выступ балкона второго этажа и там надежно повисла. Образовалась безмолвная пауза. Обе подруги, каждая со своей стороны, анализировали нештатную ситуацию. Не проронив ни слова, Любочка куда-то удалилась. Через секунду и ее подруга так же молча исчезла в чреве квартиры. Всё стихло. Эпизод, казалось, был исчерпан. Я перелистнул страницу и принялся разгадывать кроссворд.

Минут через десять пронзительно и протяжно заскрипела балконная дверь на том же, третьем этаже. На балконе появилась та же особа, но со шваброй в руке. Синхронно с обратной стороны под балкон тяжело ступала Любочка. Она волочила за собой подобранную где-то горбатую рейку с обзолом.

Стоявшая на балконе громко, почти торжественно объявила:

– Любочка, иди поближе. Я вот нашла швабру у Матвеевых. Гляди, какая длинная. На, возьми. Ты ей снизу подденешь, и всё будет о'кей!

Стоявшая внизу равнодушно пробасила:

– Не надо. Я тут сама. – Любочка начала поднимать горбатую рейку, стараясь сохранять ее в строго вертикальном положении. Неожиданно она оступилась, и с ее ноги соскочил стоптанный башмак. Не опуская рейку и удерживая ее одной левой рукой, Любочка попыталась присесть и правой рукой надеть башмак на левую ногу. Отвлеченная этим занятием, она потеряла контроль над рейкой, та перевесила в сторону дома и резко ударила в окно второго этажа, ближе к балкону.

С веселым звоном, удвоенным эхом замкнутого пространства двора посыпалось стекло. Стоявшая наверху с наивным удивлением воскликнула:

– Гля-а... Окно разбилось. Ну, что ты будешь делать? Как не повезло Андрияну-то. Будет теперь на нас обижаться.

Любочка хранила молчание. Она, наконец, надела свой башмак и виновато сопела. Вновь обозначилась пауза. Но продолжение событий явно напрашивалось – к тому побуждала висевшая на прежнем месте кофточка. Стоявшая наверху оглянулась по сторонам, прицелилась и, как заправский воин, на манер копья решительно метнула швабру. Импровизированное копьё системы неведомых мне Матвеевых ударило в металлическое обрамление балкона, срикошетило и аккуратно угодило теперь уже в балконное окно той же квартиры на втором этаже. Снова послышался веселый звон битого стекла. Та, что стояла наверху, не веря неожиданному результату, радостно всплеснула руками, коротко хохотнула, но, спохватившись, накрыла рот рукой и обратилась к подруге:

– Ой, Любочка! Глянь, куда я это попала? В глазок, что ль? Ну, теперь и чужая швабра застряла. Вот не везет нам, так не везет нынче, прости, Господи...

– Ты попала в окно, – уверенно и тем же отстраненным тоном констатировала Любочка.

На балконе второго этажа, хрустя битым стеклом, нереально возникла тощая фигура мужчины лет пятидесяти со следами нелегкого прошлого на небритом лице. Осмотрев порушенные окна и оценив понесенный урон, мужчина, нервно жестикулируя худыми веснушчатыми руками, завопил на весь двор:

– Ну, вы чё? Вы чё, я вас спрашиваю? Вы чё мне тут окна уже без толку бьете? Вы это тут, что, выходит, совсем уже оборзели? Кто их, стекла, за вас вставлять-то теперь будя? Кому они нужны-то? Вы чё это нынче затеяли, в конце концов? Что у вас, в конце концов, ни совести ни стыда?

На извечные народные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» ответа, как и всегда, не нашлось. Стоявшая наверху решила, что битые стекла – исключительно соседова проблема и бодро возразила:

– А мы-то что? Мы-то в чем тебе виноватые? И так, видишь, вон наша кофточка, сволочь, за твой балкон зацепилась. Кто, по-твоему, теперь виноват? Давно бы застеклил балкон. Она бы там и не цеплялась. А то всё пьянка, бедного, замучила. Всё ему некогда. А теперь ему кто-то виноват. Не шуми тут без толку и без толку не серчай.

Но хозяин пострадавшего жилья продолжал бурно возмущаться:

– Окны они тут обдумали мне бить. Учуть тут, стеклить – не стеклить. Это мои дела, а мне ваша кофточка и в... не впиалась, – Андриян резким картинным движением отправил кофту вниз. Та, некрасиво спланировав, угодила точно в середину лужи, вблизи ног Любочки.

Новая пауза длилась ровно столько, сколько мозг той, что торчала на балконе, оценивал ситуацию, а ее пышная грудь вбирала в себя воздух:

– Ну ты чё-о? Ты, что ль, совсем оборзел, нечистый дух? Совсем допился. Да? Чужую вещь всю в грезе изгваздал? Да? Кто ее теперь стирать-то будя? Кому она на хрен нужна такая? Она теперь всю форму потеряла. Она махеровая и с люриксом была. А теперь что? Ты хоть что-нибудь своей башкой бараньей думай, бестолочь.

Мужчина малость стушевался, но решил виду не подавать и вполне резонно парировал:

– А вы мне чё тут, окны пришли бить? Разбросались своими лохмотьями. Мне чё теперь делать прикажете? Вон зима вон скоро. Сами вы обнаглели. Сами допились, истерички. Ща в милицию позвоню... Узнаете у меня тогда.

Однако обращаться к законности и особенно к стражам порядка пострадавший явно не торопился, а, исчерпав словарный запас, быстро затих и закурил «Приму» мира. Любочка тем временем подгрела кофточку ногой к ближайшему краю лужи, попыталась отжать ее, но нетоварный вид кофты и обидное упоминание о милиции вызвали в ее душе новый приступ возмущения:

– Ну и чё мне теперь с ней делать? Полы ей притирать только? На. Подавись ей теперь! – Любочка, привстав на цыпочки, неожиданно мощно метнула скомканный мохер, целясь попасть им прямо в личность скандалиста. Мне было видно, как отяжелевшая кофта, описав крутую дугу, рухнула в раскрытое окно первого этажа. Кофта не просто попала в окно, но и зацепила стоявшую на подоконнике стеклянную банку с краской. Очевидно, в той квартире происходил ремонт, поскольку из глубин ее резко несло красителями. По характерному звуку было несложно догадаться, что банка еще и разбилась.

Энергичное развитие событий полностью завладело моим вниманием, заставило меня почти повалиться от смеха на бревне. Я готов был грызть его, чтобы только не заржать на весь двор и не испортить этим естественный ход веселухи. Андриян, продолжая неспешно смолить свою «Приму», не глядя на растерянную Любочку, ехидно спросил:

– Ну, что? Кинула? Кидалка хренова! И где теперь твоя тряпка-то?

В окно первого этажа высунулась по пояс толстенная бабница, с трудом обтянутая дешевым трико. Подняв вверх глаза, она безо всякой разминки и вступления завизжала:

– Ну вы чё там, совсем чиканулись? Вы чё там, совсем допились, алкаши проклятые? Вы чё думаете, управу на вас не найду, твари непромытые? Гляньте, что вы тут мне наворочали. Все полы поиспоганили, алкаши проклятые. Где я теперь краску новую куплю? И так на последние гроши покупала... Разорались тут под окнами, как собаки... Щас в милицию позвоню, алкаши непутные.

Разгоралась перекрестная перепалка трех этажей и голоса Любочки с улицы. Каждый стремился высказаться как можно громче и как мог длиннее, выплевывая скороговоркой самые обидные и доходчивые фразы. Никто никого не собирался слушать. Из общего гама выделялись лишь отдельные слова или фразы. Они как бы задавали основные параметры горячего диспута. Богатством речи конфликтующие стороны, однако, не блистали и, будто дети одной матери, употребляли одни и те же резкости. Индивидуальными были только последовательность, тональность, ритм и частота употребления матерных слов.

Отвлеченный руганью, я не сразу обнаружил, как ко мне пожаловал старик в поношенных милицейских галифе и двубортном изрядно полинявшем пиджаке синего цвета. Он выглядел живым персонажем из старого кино. Старик вежливо поинтересовался, можно ли присесть рядом, хотя

таких, как он, на моем бревне, безо всякого дозволения, разместилось бы не менее двух десятков. От деда исходила тяжелая смесь запахов немытого тела, грязного белья, самогонно-табачного перегара и чего-то еще противно кислого. С первого взгляда легко было определить, что дед вежлив оттого, что собирается попросить закурить.

Отодвинуться в сторону, казалось, неудобно. Это означало бы невольно выказать брезгливость к запахам простого народа, а попутно и отсутствие, не приведи, конечно, Господь, с его «чаяниями». Но находиться рядом было и того хуже. Поэтому я снова закурил и встал, потягиваясь, делая вид, будто спина затекла.

– У Вас, я извиняюсь, сигаретки не будет? – глядя мимо меня, вежливо поинтересовался старик в галифе.

После разрешения он позволил себе прикурить от моей же спички, принял величавую позу с совершенно прямой спиной, закинул ногу на ногу, прислушался и с мечтательной завистью произнес:

– Во как полосуются суседи! Во как выясняют! Эта Любка, она и правда совсем обнаглела – людям уже стекла бить начала. А ведь они как-никак денег стоят. Их никто тебе запросто так не подарить. То-то. А Андрияну чего теперь делать? Вон аж два окна рассадили ему, а от него, если хочешь знать, и так баба на прошлой неделе съехала. Совсем съехала и барахло всё с собой забрала. Ни совести, ни тебе стыда – оставила мужика, считай, голым.

Выдержав паузу, чтобы проверить, какое впечатление производит его речь, старик смерил меня неодобрительным взглядом. Его лицо открыто вопрошало: «Да откуда тебе знать, каково это жить без бабы, без стекол и совсем голым?» Поменяв свои ноги местами, он продолжил свой комментарий.

– А эту Гаврилиху с первого этажа нечего и слушать. Ну и противна, если хочешь знать, баба! Хоть бы не брехала,

что ей не на что краску купить. У ей денег, если хочешь знать, как блох на кошке. Глянь вон, мурло какое себе налопала. Ажник вся бедная оплыла. Она ж торгашка. Каждый божий день семечками на углу торгует.

Заметив мое сомнение по поводу возможности разбогатеть на семечках, старик продолжал настаивать:

– А Вы, я гляжу, зря думаете, что с семечек не заработаешь. Зря, зря. Будьте любезны, денежки – они капают полегоньку. И пусть, я извиняюсь, не брешет она зазря. Это вон Андрияну теперь не на что окна делать. Хоть подушкой, хоть собой затыкай.

Словоохотливый комментатор действующих лиц и исполнителей на время умолк, и я с удивлением отметил, как кардинально изменился вектор межэтажной дискуссии. Как быстро Любочка, ее подруга и «бедный Андриян» совместно ополчились на не любимую дедом Гаврилиху. Они втроем то хором, то поодиночке поливали ее самыми распоследними словами за богатство, полученное от продажи «вонючих семечек», за слишком «разъетое мурло» и за то, что живет «без забот и в свое удовольствие». Вся троица в точности повторяла слова старика, и по всему чувствовалось, что так бывало уже не однажды в этом прохладном дворе.

Подобного рода вздорную ругань слышал я много раз и скоро утратил всякий интерес к происходящему. Бодрые, веселые и изобретательные люди быстро превратились в злых, скучных и неоригинальных. Что ж тут оригинального, когда и так всем хорошо известно, что не любят у нас в народе предприимчивых. Крепко не любят.





ПРОБЛЕМНЫЙ УКУС

Господин Кряквин – чиновник местной администрации шел на работу. Шел он быстрым шагом, поскольку вот-вот мог опоздать. Он спешил и не любовался почти бодрым утренним светом, подкрасившим не только верхушки домов и деревьев, но и, казалось, даже облагородившим обширную мусорку по улице Зеленой.

Мысли господина Кряквина о предстоящей работе с документами были постоянно прерываемы кивками встречных прохожих. Одним господин Кряквин ответно кивал, другим говорил: «Я вас приветствую», третьим деловито совал руку.

Но вот его внимание скользнуло по бежавшей навстречу собачонке, маленькой, серенькой, самой что ни на есть обыкновенной, каких в нашем городке едва ли не больше самих его обитателей. Примечательным в собаке было, пожалуй, лишь то, что, судя по отвислым соскам, она или собиралась, или уже была матерью щенят. Псина имела вполне мирный вид, выражавший, что бежит она исключительно по своим собачьим делам и что ей совсем нет никакого интереса до людей, идущих ей навстречу.

Гораздо больше господина Кряквина привлекла молодая особа лет тридцати, приятно одетая и красиво сложенная. Господин Кряквин где-то уже видел ее или, возможно, был когда-то даже знаком, но как-то не мог вспомнить, где и как и кто ее супруг, если он у нее есть.

Так и не определившись, знаком ли он с дамой или нет, господин Кряквин решил из вежливости, на всякий случай, поприветствовать полужнакомку. И только он произнес: «Здра...», как что-то пронзило его лодыжку. Кряквин на секунду даже присел от такой неожиданности. Было очевидно, что мирная собачонка, про которую он успел уже забыть, грызнула его за ногу. Чиновник задохнулся от собачьего вероломства и обоснованного возмущения. Особенно возмутительно было то, что собачка не предупредила его о своем агрессивном намерении ни традиционным лаем, ни рычанием, и что после содеянного она продолжала, не меняя курса, как ни в чем не бывало, семенить по своим собачьим делам. Такого презрительного высокомерия и пренебрежения со стороны паршивой шавки, не удостоившей чиновника районного масштаба даже поворота головы, господин Кряквин не помнил отродясь.

Еще обидней было то, что наказать подлую псину не представлялось возможным. Бежать за нахалкой – не солидно, возмущаться посреди улицы – и того хуже. Улица тем временем была занята многими прохожими, спешившими на работу, и поэтому нельзя было запулить в дерзкую собачонку даже куском кирпича или увесистой палкой. Собака тем моментом безнаказанно свернула в проулок, а Кряквину ничего не оставалось, кроме как, смирив обиду, делать вид, что ему не больно и что, собственно, ничего нештатного и не произошло. С этим видом он и явился к исполнению своих муниципальных обязанностей.

Перед входом в присутственное место Кряквин поздоровался с молодыми сослуживцами, не отказался от предложенной сигареты, благосклонно выслушал уже известный ему анекдот и даже натурально поохотал над его пошловатым содержанием.

Вошедши в кабинет, господин Кряквин снял верхнюю одежду, привычно обойдя стол, опустился в уютное кресло и на миг расслабился. Он делал так на протяжении многих лет службы в администрации. Это было как бы ритуалом, необходимой предтечей напряженного рабочего дня.

Но вот икра его левой ноги неожиданно загорелась тонкой саднящей болью. Господин Кряквин задрал штанину и строго осмотрел конечность. На белой коже виден был синяк от одного из собачьих зубов, а в сантиметре от него – небольшой кровоподтек.

«Вот, гадина, прокусила все-таки!» – мысленно возмутился господин Кряквин, и ему вновь сделалось обидно. «Бегают, сволочи, по всему городу, и никакой на них управы нет. Куда только смотрит мэраша? А если б на моем месте был маленький ребенок?» – продолжал мысленно возмущаться Кряквин. Он живо вспомнил о своем малолетнем сыне и подрастающей дочери и обиделся сразу вдвойне.

Потом ему вспомнилась недавняя статья местного санврача в местной же газете о том, что в районе отмечены случаи бешенства, где-то, кажется, в Сергеевке. Там лисица покусала собаку, а собака, в свою очередь, покусала корову, и скоро корова стала вести себя не по-коровьи, носясь без цели по огородам, брухая хозяйские стога, лягаясь и взбрыкивая, как натуральная лошадь. При этом она часто падала на спину, задирала копыта кверху и испускала обильную пену.

Вспомнив содержание статейки, Кряквин забеспокоился: «Черт его знает. Мало ли что! Кто ее знает, какая она, эта тварь?» На всякий случай Кряквин рассказал об утреннем инциденте старательной секретарше. Та вдруг сильно забеспокоилась:

– Владимир Семенович, вы бы не шутили с этим. Эти собаки совсем обнаглели! Управы на них нет никакой. Куда только смотрит мэраша? Надо же их срочно отстреливать! Надо же меры принимать! А так что? Одно безобразие кругом и больше ничего.

И тут же секретарша доверительно рассказала Кряквину пару невыдуманных историй о случаях с покусаниями собак и летальным исходом. Попутно она упомянула и о своих противных болезнях, и о зубной боли мужа не далее, как еще вчера.

Не найдя успокоения, Кряквин зашел в кабинет своего непосредственного начальника, где на всякий случай и ему рассказал об утреннем укусе. Начальник господина Кряквина слыл мужиком положительным, трезвым, работающим и не любившим всякие там несерьезные дела вроде неожиданных укусов собак, излишней веселости и курения подчиненных на лестничных площадках. Он заставил смущенного Кряквина задрать штанину, внимательно осмотрел место укуса и с отцовской озабоченностью изрек:

– Ты с этим давай не шути. Кто ее знает, какая она была, та собака? А, может, она бешенством страдает! Ты

уж, Владимир Семенович, лучше от греха обратиться в больницу. Я щас позвоню в гараж, дам машину. По-быстрому там обратиться в «скорую». Тебя быстренько проверят, сделают укол. Давай-давай, не шути и через часик зайдешь, есть для тебя срочная работа.

Делать было нечего, хочешь – не хочешь, а подстраховаться надо, и Кряквин уныло поплелся к выходу, где его уже ждала «Волга». По дороге он виновато объяснял шоферу причину, по которой отвлек его от игры в «козла» в теплом гараже. Шофер понимающе великодушно отвечал:

– Да ладно, ничего страшного. Щас обследуют. А то черт ее знает, собаку энту. Может, она того... с придурью какой. – И он тоже успел, пока ехали, рассказать одну из леденящих кровь историй про аналогичный случай с коварным собачьим укусом.

Обращение в «скорую» господина Кряквина по поводу собачьего происшествия никак не подействовало на медсестру. Она даже не взглянула на рану пострадавшего, а лишь равнодушно посоветовала взять талончик к хирургу Пьяных. По всему было видно, что ни вежливый тон, ни галстук, ни кожаная куртка не произвели ни малейшего впечатления на белохалатную. Видно было, что она не знала и того, где работает господин Кряквин. Впрочем, другая медичка внимательно разглядывала его. Хотелось надеяться, что она захочет вспомнить, кто перед ней. Кряквин безо всякого настроения смиренно двинулся к окошку регистратуры.

На прием к хирургу и прочим эскулапам тянулся хвост примерно так из человек тридцати пяти-сорока. Кряквин уже было засобирався плюнуть и уйти, но вспомнил про своих малых детей и жену, которая, конечно, не поднимет их на ноги, случись с ним что, и почти смирился отстоять в длинной очереди. За полчаса очередь двинулась всего на пару-тройку пациентов. Вдруг сзади Кряквин услышал по-сержантски решительный голос медсестры из «скорой»:

– Мужчина, что вы стоите? Вы же с раной. Мужчина, я вам говорю, идите к окошку. Вы же с раной. Идите вне очереди.

Очередь разом затихла и обратила взоры в самый свой конец. Словосочетание «с раной» прозвучало двусмысленно и даже больше на совсем иной некрасивый манер. Кое-кто в очереди даже стал принохиваться, буквально поверив медсестре. Кряквин от неожиданности совсем некстати быстро залился краской смущения и вспотел. Опозорили, уж так опозорили. Но слово, как известно, не воробей. Деваться было некуда и, чрезмерно прихрамывая, Кряквин двинулся к окошечку. Он злился на глупую собаку, угодливую медсестру, на недалеких и грубых обывателей, стоявших в очереди. Им бы всем не тихо лечиться, а только позубоскалить, только бы унижить приличного человека. А уж если человек при должности, так тогда и тем более. За окошком мирно беседовали две дамочки лет под сорок. До ушей Кряквина доносились лишь отдельные реплики:

– А мой вчера... Нехуже, говорю своему... еще такой придешь... вон бог, а вон порог....

– А моему... другую машину... А он к этой стерве... стекла побью и ворота гамном измажу. Так и знай...

Было видно, что проблемная тема всецело завладела медичками, и у них не осталось сил даже взглянуть за окошко. Кряквину стало совсем жарко и еще более неуютно. Не выдавая своего раздражения, он наклонился, обозначил свою личность в форточном глазке и предельно вежливо постучал согнутым средним пальцем. Одна из беседовавших не глядя открыла форточку, но продолжала разговор. Кряквину казалось, что каждому было видно, что он поступил эгоистично и бестактно.

– Ну, чего вы? – наконец смерила его осуждающим взглядом медичка. – Полис-то хоть с собой?

Кряквин сконфузился окончательно. Полиса у него не было.

– Знаете, я с раной, – зачем-то повторил нелепое созвучие Кряквин.

– Хоть с раной, хоть еще какой, а положено с полисом. Не положено у нас без полиса.

Толпа за спиной Кряквина обрадованно колыхнулась, предвкушая отвоевать шаг к заветному окошечку.

– Мужчина. Я кому, вам говорю? Не положено без полиса. Отойдите и не мешайте без толку другим людям.

Кряквин растерянно оглянулся, тщась уловить сочувствие на лицах, болезных в очереди. Но некоторые из них смотрели нарочито в сторону, другие явно одобряли слова регистраторши, а на лицах третьих и вовсе читалось злорадство, и Кряквин, в который раз смирив раздражение, отошел в сторону.

Покулив на улице, он вновь собрался уйти, но отчего-то разозлился, решил впервые в своей жизни использовать пресловутый административный ресурс и ринулся к кабинету главврача. Однако того, по обыкновению, на месте не оказалось. Проникновение к врачу сделалось принципом и делом удовлетворения униженного самолюбия. Кряквин решил пустить в ход все известные ему способы попадания к врачам. Неприлично хромя, он поднялся наверх к кабинету хирурга Пьяных. Здесь у двери уже сидело и стояло человек семь с заветными талонами и лицами кающихся грешников. Между ними и белой дверью кабинета без конца сновали одинаково одетые и так же одинаково недоступные с виду медсестры, ни на кого не глядя, куда-то спешили традиционно раздраженные санитарки.

Сделавшись максимально непроницаемым и официозным, Кряквин решительно двинулся в дверь, мягко отодвигая бабулю, которую с виду не могли уже вылечить все медицинские светила мира. Однако старушка на редкость бойко выставила вперед ногу в калоше поверх суконного носка и грозно спросила:

– Ну, чаво это без очереди? Ишь лезя, людей ня видя... Со всем, что ль, ослеп? При галстукe, а ни совести, ни стыда у него.

В ответ на жесткий бабкин диагноз Кряквин, отбросив последнее благородство, решительно заявил:

– Меня сам Пьяных персонально пригласил. У меня особый случай – рваная рана... открытая.

Слова и тон оказали некое действие. Заметив бабкино замешательство, Кряквин решительно толкнул дверь. За дверью мирно беседовали Пьяных и двое, с виду сорокалетних, медсестер. Пьяных, прищурившись, сфокусировал зрение на Кряквине и равнодушно и одновременно приветливо спросил:

– Что такое? Что беспокоит? Давай талончик.

Кряквин, жалобно глядя в глаза сразу всех присутствующих, сказал:

– Талона у меня нет. Может, так посмотрите? Меня какая-то собака покусала.

– Что, сильно покусала? Куда покусала? Ну-ка, подними штанину... – деловито распорядился Пьяных.

– Ну, собственно, ничего серьезного... ничего серьезного, если, конечно, собака здоровая... Чья собака-то? Знакомая? – отстраненно бормотал усталый доктор.

– Да в том-то и дело, что неизвестная. Шел на работу. Она навстречу... маленькая такая, небольшая совсем и ничего такого, никакой агрессии, цапнула за ногу и дальше побежала. – Стараясь скрыть смущение, почти скороговоркой, но предельно вежливо говорил Кряквин.

– А где теперь эта собака? Нельзя ли ее найти? Надо бы у нее взять анализ. Вдруг бешенство? От столбняка давно укол делал? – озабочился наконец хирург.

– Да в армии еще. Давно уже, – честно признался Кряквин.

– Тогда вот что: сходи в процедурный, там без очереди сделай укол от столбняка и походи по улице, поищи ту

собаку. Чья она собака? – глядя поверх очков, снова спрашивал доктор.

– Не знаю. Не знаю даже приблизительно. Она мне ни фамилии, ни номера своего телефона не давала, – попробовал шутить Кряквин. Но день был явно не его, и шутка прозвучала очередной его бестактностью.

В процедурном кабинете медсестра задала те же вопросы про собаку и набрала в шприц какой-то жидкости. Здесь сидело двое молодых хорошеньких девушек. Они пили кофе с шоколадом и с веселым любопытством посматривали на Кряквина. А Кряквин снял куртку и вновь вспотел, но теперь от мысли, что придется демонстрировать присутствующим не слишком новое белье и не слишком эстетичное место. Он уже собрался лечь на кушетку, но медсестра его опередила:

– Спустите-ка брюки. Сейчас будет хлопчеч, потом немножко больно.

Кряквин сообразил, что лечь на кушетку было бы смешно и нелепо. Слава богу, его и здесь не жаждали долго лицезреть. Вслед за обещанным хлопком он испытал нечто, напоминавшее внедрение кола в пространство ниже копчика. Он замер и некоторое время боялся даже шелохнуться. Затем поспешно натянул брюки и лицемерно поблагодарил медсестру за ее «легкую руку».

На работу Кряквин попал только к обеду. До конца рабочего дня старался не сидеть и больше двигаться. Нога уже больше не болела, но место ниже спины стонало так, будто медичка зачем-то забыла вытащить иглу.

Проблемную собаку Кряквин не искал, повторного противостолбнячного укола и уколов от бешенства ему не делали. Больничный сервис районного внимания еще больше упрочил его нелюбовь и к лечению, и к отечественным врачам.



СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Начальству, как известно, всегда виднее. Оно, к примеру, знает наперед, когда кого выдвинуть на ответственную должность и когда кого опять же задвинуть. Кому что-то доверить, а кому пока обождать и дать получше созреть и проявить себя.

Районное начальство доверило главе Большеямского поселения выступить на районном концерте в честь лучших женщин всего района. Оно резонно решило, что все сколько-нибудь красноречивые начальники уже выступили не по одному кругу и стали часто повторяться, произнося со сцены «Уважаемые наши женщины... высокая роль женщины в обществе... вы создаете тепло домашнего очага... мы ценим вас, как женщин... мы не всегда бываем к вам внимательны... с Международным днем вас, и в вашем лице

всех, кто не пришел...» Начальство и остановилось-таки на свежем лице, мало кому еще надоевшем в районном центре.

Конечно, Сергею Митрофановичу сделалось бы значительно комфортнее застенчиво отказаться, сослаться, к примеру, на начавшийся запой, ушиб седалищного нерва, какую-нибудь, прости, Господи, подагру или разгулявшийся в этот раз нектати геморрой. Да мало ли кроется в человеке разных вполне уважительных и ненужных болезней? Но Сергей Митрофанович вовсе не таков и сразу дал понять, что район по-прежнему, как и ранее, может твердо на него рассчитывать и в большом, и в малом.

Пара дней пролетела, как одно очень длинное мгновение. Пора подошла обдумать речь, внешний «прикид» и сам выход-уход со сцены. Подумал, повспоминал свои же удачные выступления, чужие конфузы и даже пособирал паутину Интернета. Но вроде начал сомневаться насчет манеры подачи – в шутливой форме или, наоборот, строго, сухо, без фриivolностей и легкомысленных подмигиваний. Решил – нет, нельзя сухо – это ведь не перед собственной супругой, могут неверно подумать, что ты и сам такой же сухой – сухарь не размоченный и, упаси, Господи – некреативный. Решился выступить весело, задористо, с блеском в глазах, но в меру, как бы культурно сдерживая себя от большего.

Думал-думал и под конец написал речь хорошую и в меру душевную и довольно длинную, настолько, чтобы женщины в переполненном зале смогли бы успеть оценить его неброское обаяние, немалую одухотворенность, неразгаданную загадочность и сокровенную самобытность.

Супруга, вполне разделявшая значимость публичного поступка мужа, прикупила и подшила новый костюм, сорочку и галстук, а потом уж и замечательные туфли по моде, представленной местным цветистым базаром. Сергей

Митрофанович наизусть выучил себе речь и, как раз к тому времени и подошло шестое число марта, когда, по традиции, у нас обыкновенно отмечают день восьмого марта.

Но человек предполагает, а судьба, как всем известно, располагает и вертит нами почему зря, невзирая в лица и не читая табличек на дверях кабинетов.

В районном клубе вдруг Сергея Митрофановича накрыло глупое волнение, откуда-то взялась немотивированная тревога: «А так ли уж я стану хорош со сцены?» Чтобы развеять предательское беспокойство, Сергей Митрофанович поднялся по крутым ступеням на второй этаж, зашел в библиотеку, двинулся безо всякой цели на балкон. В полумраке балкона оступился, неловко двинул ногой и услышал треск, который так знаком каждому, кто хотя бы иногда ходит в новых брюках.

Однако ж Сергей Митрофанович не таков, чтобы впасть в отчаянье и слабавольное уныние. После контролируемого гнева на тему: «Шьют на покойников, а продают живым» он небольшими, зажатыми шажками пришел в кабинет к Валентине – одаренной художнице местного ДК.

Валентина – бывшая одноклассница, спокойная и фигуристая, а главное, всегда имеющая сострадание к человечеству, иголку и нити разного цвета. На половине извинительной просьбы Сергея Митрофановича она буднично произнесла: «Сымай».

Сергей Митрофанович осуждающе остолбенел, сконфузился, но быстро сообразил, что произвести шов изнутри, на нем же, будет куда как сложнее и для него же волнительнее, и покорно стянул с себя брюки, с любопытством глядя на новые трусы в горошек. Валентина тоже с любопытством посмотрела на его горошек и предусмотрительно посоветовала Сергею Митрофановичу сесть на стул сзади за шкафом. Сергей Митрофанович с внутренней глубокой благодарностью сразу согласился и затих.

Открылась дверь. Вошел Виктор Николаевич – местный галантный депутат из числа необыкновенно особенных и всегда патриотично настроенных граждан. Там, на входе, в фойе школы, не подумавши, и ему вручили веточку мимозы, а Виктор Николаевич и не возмутился, что он, мол, мужчина, не стушевался, попросил еще две веточки и пришел вручить пахнущую пряной весной желтую пухлошарую прелесть Валентине, о которой давно и частенько, как женатый человек, грезил предельно смелым и творческим образом.

Виктору Николаевичу крайне не понравилась сцена испуганного смущения застуканной им парочки, но он не подал и вида, а даже, наоборот, изобразил все так, как будто в нашем городке всегда при каждой порядочной разведке обязательно встретишь мужика без порток. Виктор Николаевич бодро поздоровался с Сергеем Митрофановичем, буднично вручил Валентине мимозу и подчеркнуто тактично ретировался.

Оставшиеся стыдливо глянули в глаза друг другу. Валентина прочла: «...дец! Теперь всем разболтает!» Сергей угадал: «...дец! Теперь разговоров на месяц!» Да оно и понятно, и простительно. При таких делах и каждый из нас без труда выведет: «Ах, вон ты какой, кобель, получается? А еще женщин назначен поздравлять. Сидит у порядочной разведки в одних трусах без штанов при галстукке. Срам-то, срам-то какой! Да и Валентина тоже хороша. Нашла время для утех. Что-то не водилось за ней такого. А еще бывшая учительница называется».

В течение десяти следующих минут к Валентине по всяким важным поводам зашли все ее сослуживицы. При этом ни одна из них совершенно случайно даже не заметила красного и испуганного Сергея Митрофановича. Но Господь, как мы все хорошо знаем, не посылает нам испытаний сверх нашей способности переносить их, и брюки

были в итоге зашиты, суетливо надеты, а белая рубашка в них заправлена. Кстати, заправка рубашки под ремень показала Сергею Митрофановичу верхом унижительного позора и осознания неловкой измены мнению людей о его несомненной добропорядочности и моральной устойчивости.

Вечером того же дня супруга Сергея Митрофановича задала ему жесточайшую трепку, более основательную, нежели когда застучала его на празднике в колхозном клубе при ощупывании Верки – аппетитной секретарши председателя колхоза. Сергей Митрофанович, как мог, оправдывался, понимая, что попал в очевидный, непредвиденный цугцванг, когда каждый его ход только усугубляет ситуацию и неизбежно ведет удачную партию к проигрышу. Супруга громко утверждала, что она всегда знала о тайной страсти мужа к однокласснице Валентине, что ставший явью позор на всю деревню она ничем не заслужила и что могли бы они с Валентиной, если уж совсем им не вмоготу, встречаться как-то по-тихому, а не так аморально и вызывающе охально при всем честном народе. Когда супружница стала стыдить главу Большеямского поселения о том, что он подает плохой пример молодежи Большеямского сельского поселения, а их дети теперь не смогут спокойно ходить по улицам Больших Ям, Сергей Митрофанович малодушно съездил ей по скуле. На том речь жены успокоилась и перешла в стадию легкого подвывания со всхлипываниями во время чистки картошки для совместного ужина.

Три месяца Сергей Митрофанович промучался, не поднимая глаз на своих подчиненных, своих и чужих детей, родню, старушек и продавщиц местного магазина. Он понимал, что для него лучше было бы искренне повиниться перед родней и остальным миром, но сочинять неправду было никак невозможно из-за доброй одноклассницы Валентины.

Частный эпизод с брюками завершился тихим разводом без истеричных криков, убедительных угроз и обмороков. Из семьи и со службы Сергей Митрофанович перебрался на житье к Валентине в город, а та его без тревог и сомнений приняла.

Недавно все тот же глубокоосведомленный обо всем в мире Виктор Николаевич поведал мне по секрету, что живут Сергей и Валентина прямо-таки счастливо: он уже перекрыл сарай, починил трубу и заменил забор, и теперь они уже собираются завести себе общую дочку. Ну, а коли так, то пожелаем им всего хорошего!



ПОХОРОНЫ

Умер глава района. Эта весть в полчаса облетела Эрский район.

Вначале сей печальный факт констатировали работники «скорой помощи». Затем трагическая весть задержалась среди ограниченного круга ответственных лиц района — у нас принято самые значительные новости держать среди избранных насколько возможно дольше и только потом, когда они перестают быть новостями, благодаря невероятно искаженным домыслам, пришедшим с неожиданной стороны, их объявляют тоном доверительной сенсации. После обретения кратно большего числа носителей дурные вести мгновенно проникают во все конторы, магазины и правления. Когда же их обладателями становятся бухгалтерии различных служб и учительские наших школ, начинается настоящая инфор-

мационная буря. Вести с невероятной прытью достигают ушей шоферов, трактористов, плотников, доярок и скотников, тех, кто находится на рыбалке, в дальней командировке, в длительном запое и даже в розыске.

На сенсационное известие отреагировали все, но по-разному. Одни искренне горевали и стандартно вздыхали: «Господи, какой молодой! Какой мужичака здоровенный. Ему б жить да жить. Ах-ах, как же так скоро? Не иначе от сердца. Вон сколько молодых мрут от сердца». Другие из числа не знакомых с покойным лично или из категории вечных злопыхателей по любому поводу, пожимая плечами, констатировали: «А что ж тут удивительного? Он же, говорят, пил ведрами, здоровье не берег, все думал, снесу ему никогда не будет. Вот теперь и готов – все дела поделал. Все под Богом, смерть, она никого не забудет. Она всех приберет».

Районный бомонд задавался вопросом: «Кто ж теперь? На кого поставит область?» Кто-то втайне вождеделел заполучить под свой зад крутящееся кресло на третьем этаже. Эти глубоко законспирированные деятели были широко известны – район-то небольшой, а бражничают у нас часто. Оттого, конечно, тайны долго и не держатся. Один из верных друзей и соратников усопшего в узком кругу трагично и веско заявлял: «Уже звонили. Намекали так прозрачно, мол, давай соглашайся. Поддержим. И опыт у тебя, и авторитет в районе, и все такое... Я, честно говоря, обалдел и говорю им: «Да вы что там, обалдели? Не успели ноги остыть, а вы уже предлагаете. Не хочу я. Да мне, по совести сказать, и не надо это. Если б так годочков десять-пятнадцать назад предложили, я, может, и подумал...» Сображники тактично кивали, наверняка зная о том, что оратор немилосердно врет. Не глядя в очи несостоявшемуся Наполеону районного масштаба, одни щипали хлеб, другие курили.

Атмосфера в администрации менялась каждые десять минут. Поначалу всех охватили столбняк и опустошение. Многие не могли сосредоточиться, чтобы избрать достойную линию поведения. Некоторые боялись, идя по коридору, встречаться с глазами коллег, будто они имели причастность к трагической развязке. Женщины-ответ-работницы плакали. Секретарша и машинистки плакали еще искреннее. Мужчины мрачно и сдержанно материли судьбу-злодейку, курили и молчали, потом снова курили и молчали. Оставшись без вожака, те, которые руководили и учили быть целеустремленными и твердыми, стали сами размягченными и склонными к сумбурному мышлению. Единый коллектив как бы напоминал даже брошенное не трезвым пастухом стадо, не ведавшее, идти ли ему давно тореными тропами или же разбежаться по зеленым да чужим скирдам. Все безотчетно жались к приемной. Сюда подтягивались носители вялых новостей, оживленных слухов и категоричных суждений. Сюда звонили отовсюду, спрашивая: «Это правда?» Звонившим устало и раздраженно отвечали: «Да». Если не успевали положить трубку, приходилось продолжать: «От сердца вроде бы... У себя дома... Сами пока толком не знаем».

Уже начинало казаться, что так будет бесконечно. Но ясность решительно внес первый зам по многим вопросам Зубрякин. Реально прочувствовав свою судьбоносную ответственность за будущее территории, он с внятным матом попер всех из приемной и почти мгновенно отдал распоряжение создать штаб по организации достойных похорон. Все поняли, что ситуация под контролем, район не рухнет, и разошлись по чужим кабинетам, продолжая горевать. Работать никто не мог.

Постепенно главным вопросом становился «Кто станет преемником?» Элементарная этика, однако, не велела задавать его вслух, поскольку тело покойного главы еще не

было предано земле. Только пожилая уборщица тетя Надя, двигая шваброй и шмыгая носом в такт нехитрым движениям, лепетала: «Батюшки мои, бедный Виктор Васильевич. Что же ты наделал? Теперич опять зачнуть кресло делить...» Никто не поддержал бестактную правду уборщицы, и она замолкла, продолжая часто вздыхать и охать.

Мало-помалу в течение дня вырисовывались обстоятельства, при коих скончался глава. В них не нашлось места ничему загадочному и особенному, если не учитывать таковыми саму кончину в столь раннем для личности покойного возрасте. А именно личность-то никак не вязалась с понятием «смерть». Глава был высокого роста, плечист и широкогруд. В его жуковых волосах едва ли можно было отыскать хотя бы один седой волосок. Покойный обладал весом за центнер и зычным голосом, которого многие откровенно побаивались. Он был уверенным в себе, энергичным, гостеприимным и великодушным. Этим он привлекал к себе массу приятелей, друзей и подруг. Этого человека легко было при любых обстоятельствах невольно выделить из общей среды. Про таких людей в расцвете сил говорят, что они всегда и везде хозяева положения. Такого склада руководители у нас понятны большинству и считаются на своем месте.

Все знали и не однажды за глаза обсуждали как большую проблему главы его пристрастие к спиртному. Он не принадлежал к сонму российских алкоголиков, как утверждали злые языки, мог остановиться в запое и выйти из кризиса самостоятельно, без капельницы, в отличие от некоторых его тайных критиков. Покойный умел пить, но умел и не пить. Просто второе удавалось ему с годами все реже и реже.

Старые друзья и новые приятели, спешившие в его просторный кабинет, но иногда привечавшие его и у себя, были готовы расстараться на пару литров водки. Застолье

не всегда носило смысл обычной пьянки, но иногда выступало способом решения житейских задач. У покойного был принцип: «Что по пьяни обещал, по трезвости выполняй».

Витек, как называли его самые близкие, был интересен не только в качестве товарища по застолью, но и как человек, безусловно, полезный. Одному приятелю устроил дочь на хорошо оплачиваемую, не пыльную и придуманную должность. Другому устроил зятя на престижную, не сильно хлопотную работенку. С третьим Виктор Васильевич состоял в доле по прибыльному магазину в центре города. Многим глава помогал тем, что не препятствовал воровать и самоуправствовать. Некоторые только собирались извлечь выгоду из высокого знакомства. Дружки не обременялись беспокойством относительно того, что услуги главы падают крупными камнями на его авторитет, вызывая раздражение живущих по средствам, особенно завистников не из числа избранных.

Пил глава помногу. С хорошей закуской, без спешки, под веселый разговор он мог употребить литр водки, после чего трезво прощался и ехал на свое присутственное место, где принимал, вызывал и подшучивал. В такие часы он бывал добродушным, ироничным и обычно не устраивал больших разносов. Пребывание во хмелю стало почти рабочим состоянием.

Один из председателей, здоровенный протягалина, ровесник и давний приятель Виктора Васильевича, любил рассказывать в кругу избранных:

– Работал я еще главным инженером, а он парторгом. И вот, приезжаю я как-то к нему. Надо мне было какую-то дефицитную железяку достать. Ну, короче, нашли то, что требовалось. Ставлю магарыч, как положено. Выпили хорошо. Потом добавили, как обычно. Мы уже в приличной дозе были. Тут Иван Иваныч, черт его откуда-то принес, возьми и скажи: «Ну, мужики, оба вы лобастые, здоровые,

а вот кто из вас кого поборет, не знаю. Ну-ка, давайте померяйтесь – кто из вас крепче будет.

Ну и, что ж вы думаете? Выпивали мы в посадочках. Их года два назад как посадили. Час целый мы с ним валтузились. Прикатали мы эти посадки радиусом метров в двадцать – никто не хотел уступать. Раскраснелись, пот градом, брюки зеленые от травы. Ужас. Молодые, конечно, были, натуристые. Потом Иван Иваныч еще пару белых привез. Сели, выпили, честь по чести, вроде как мировую».

Кто же мог верить при эдаком образе жизни человека, что он способен банально помереть в своем доме, в своей постели, находясь в отпуске идеально трезвым? Не могло же статься такого с таким человеком? Конечно, нет. Просто нереально. Гораздо охотнее верилось в слухи о том, что покойный застрелился, отравился и повесился на градушке кровати или что все это же сделали с ним ревнивая жена, сын-студент или сын-пятиклассник. Ходили слухи и о таинственной записке, где содержался намек на то, что причина суицида – многомиллионные растраты казенных средств и месть мафии.

Безошибочный индикатор общественного мнения в Эрске – его рынок. Лишенные творческого воображения торговки и покупатели кипели личным отношением: «Говорят, опился. Точно опился. Говорят, пил по-черному, аж со Старого Нового года. Говорят, без просыпу, каждый день. Каждый божий день лакал, и никто не мог его одернуть. Так, конечно, кто же выдержит? Скоко же надо так здоровья, чтоб каждый-то день?»

И тут же примитивные торговки, забывшие на время, ради чего они здесь с пяти утра, и покупатели, забывшие, для чего это через весь город в жуткий гололед тащились они на базар, начинали легко припоминать и приводить совершенно идентичные примеры типа: «Дык, вон, Петька Гундяев, помнишь, тоже пил и самогон, и брагу, и динату-

рат, и все подряд. И нашли его где? У своем дому, когда он застыл и прочернел как чугунок. Помнишь? А тоже молодой был, и никто бы не подумал чего, а он помер и все. Ни жены, ни детей. Так пропал мужик, и хоронить некому». Другая торговка подхватывала и развивала некротему: «А этот, как его? Серега-гармонист, помнишь? Дай Бог памяти, как его фамилия? Ты не помнишь, как? У него еще жена бухгалтером в сахзаводе сидела, а потом спуталась с этим... Ну, как его? С начальником, бригадиром каким-то, что ли? Помнишь? В позапрошлом годе об эту примерно пору, кажись, было. Ну, он, Серега-то, опосля стал не хуже, пить дюжа. Прямо большими запоями. Работу бросил, весь оброс, как паралич, прости, Господи – царство небесное. Жена от него ушла, и он тоже молодой помер. С ним рак, кажись, приключился. Тоже молодой какой был. Жа-а-лко тоже. Не пожил».

Мишка Недосекин, которого в городе лучше знали по незатейливой кличке «засранец», втиравший простачкам гнутые скобы, ржавые замки и допотопные дырявые ручнойники, громогласно объявлял: «А по кому кричать-то? Авось завтра другого на нашу шею посодют...» Рынок наш кипел разговорами, правдой в которых было только то, что глава района умер.

День похорон был метельным и скользким. Попрощаться с покойным пришло много народа. С утра в его просторном доме побывали давние друзья, все руководители и множество обычных людей, ничем особо не отмеченных. У гроба толпились не только соседи и жители близ расположенных улиц, но и некоторые пришедшие черт-те откуда, с другого конца города. Некоторые впервые видели человека, лежавшего теперь в гробу. Смысл дальнего похода через весь город для них состоял в самом желании быть, видеть, слышать, участвовать.

Известная активистка, стоя на любимом паласе покойного, детально обдумывала, как она расскажет потом своим

подругам о необыкновенно трогательных обстоятельствах кончины человека, который высоко ценил ее уникальные способности. Она тихонько стояла в сторонке, время от времени украдкой неспешно осматривала обстановку в доме: красивый потолок, оригинальные обои, паркет и приличную мебель. Ничто не ускользнуло от ее пытливого взора: ни высокая напольная ваза, ни во всю стену репродукция известной картины, ни большие дверные ручки под золото, ни дерматин пышных кресел, ни шторы с ламбрекенами, ни занавешенные зеркала. Активистка скромно вытирала платочком покрасневшие веки и будто к чему-то готовилась. Со стороны казалось, что она вот-вот произнесет речь или даже споет нечто глубоко религиозное. Но она молчала, смотрела на все и без конца скорбела.

Пару недель спустя по городу метались слухи о несметных богатствах, оставшихся вдове. Говорили о подвесных потолках, дверных ручках из золота, люстрах из драгоценных камней, мраморных дорожках по всему саду, необыкновенной веранде, резном туалете во дворе и других атрибутах роскоши. Многие, слыша об этом, захотели стать вдовами или, на худой случай, сестрами покойного. Только сосед покойного, недалекий кочегар школьной котельной простодушно рассказывал своим сменщикам: «Никакого шика там и нету. Думал, там правда все под дуб под ясень, под хрен дядин Васин, а там – так себе. У нас директор бани покруче живет. Дом, вон, сальдингом весь обделал. Где только люди такие деньжищи берут? – И сам же отвечал своей собственной наивности: – Где-где? Ясное дело – воруют. А то где б их еще взять на сальдинг-то?»

Вынос тела – самый скорбный, самый тяжелый момент на любых похоронах – затягивался. Вдова и дети покойного все не хотели отпустить хозяина из его жилища. Вдруг вспомнили, что забыли накануне сшитые траурные повязки и послали за ними «Волгу». Потом начальник милиции

авторитетно заявил, что крест надо обязательно повязать льняным полотенцем, что без полотенца его нести никак нельзя. Начальник был родом, кажется, из Репьевки, а у них там так заведено. И, вне всякого сомнения, именно этого и надо держаться, а все остальное – однозначно сплошное язычество. Раздобыли полотенце. Потом ждали, когда читалки отчитают, потом расплачивались с читалками. Немного пришлось подождать, пока подвезут землю из церкви. Потом была небольшая задержка из-за гвоздик, которыми долженствовало устелить последний путь усопшего.

Что и говорить, у нас что на похоронах, что на свадьбах, всегда довольно суеты, масса додельных советчиков, упертых и категоричных в своих суждениях. Не понять или пренебречь мнениями доброжелателей, даже если эти мнения прямо противоположны, невозможно. Кто-то настаивал, чтобы непременно играл оркестр. Другие подсказывали, что громкая музыка окончательно добьет мать, вдову и сыновей покойного. Озябшие оркестранты желали играть и были разобижены запретом. Оркестранты стремились честно отработать уже полученные гонорары и оправдать бензин, сожженный на их доставку. Народная активистка почти чесалась от желания выступить. Из нутра ее рвалась речь, в которой были теплейшие и оригинальнейшие мысли о покойном главе и об их доверительной дружбе. Будь ей дадено слово, она поведала бы всем такое, отчего все, как один, рыдали бы, осознав, наконец, как велика утрата и глубока ее скорбь.

Но слово, как всегда, дали не тем, кто заслуживал, а другим – тем, кому долженствовало по чину и по рангу: и первым лицам области, и не последним лицам района. И выступавшие добросовестно исполнили порученное. Они бросали прямо в огромную толпу, обрамленную бесчисленным множеством дорогих венков, понятные и отточенные

фразы: «Мне довелось... талантливый организатор, прекрасный семьянин и друг... Его знали и ценили от мала до велика... Он знал не понаслышке чаяния простых людей... Он сам был плоть от плоти... Нам не будет его хватать... Мы продолжим начатые им начинания... Будем помнить о нем вечно... Теснее сплотим наши тесные ряды... Пусть наша эрская земля ему будет пухом».

Народ толпился и напирал, вытягивал шеи, становился на цыпочки, стараясь непременно увидеть строгое лицо покойного. Никто не осаживал, не шикал, не урезонивал чрезмерно рьяных. Всем давали равное право проститься, вздохнуть и перекреститься. Из пришедших на площадь мало кто не знал главу живым. Только видя его в огромном гробу, многие окончательно убеждались в том, что он именно умер, торопливо и коряво осеняли себя крестным знамением и, отходя в сторону, говорили: «Прям как живой. Кажется, встанет и пойдет. Эх, господи, вона какие мрут. А что про нас-то говорить, грешных? Как барин лежит. Скока народу собрал, а самому теперь ниче не надо». С этим никто не спорил. В знак согласия кивали, вздыхали, вспоминали о своих усопших близких и говорили: «Царствие небесное. Вечный покой».

Потемневшая от горя вдова и мать покойного обессиленно и отрешенно причитали, валясь на гроб: «Да что же ты так рано ушел от на-а-с? Да разве ж мы тебя плохо встречали? Разве ж мы тебя не любили? Почему ж ты не встанешь и не скажешь н-а-ам? Погляди, сколько народа ты собрал у себя-а-а! Как нам пережить теперь наше го-о-ре?»

Было тягостно, тоскливо и очень неловко от невозможности помочь умоляющим помочь. Снег лениво сыпался сверху, попадая в богатый открытый гроб, на лицо и белые руки покойного, на белые хризантемы, красивую обивку и саван. Снег не таял и, казалось, щекотал неживые глазницы. Это возмущало и раздражало: столько людей бросили

все, пришли с венками, столько людей скорбят, плачут и соболезнуют, важные люди произносят прочувствованные речи, а какой-то заурядный снег равнодушно и цинично дает всем понять, как тщетно и бесполезно единение людей и мнений, как слабы и уязвимы все, без исключения, стоящие на площади, чей срок так же лежать в гробу уже предначертан, но просто еще никому не известен.

Еще возмутительнее вели себя воробы. Их громкое драчливое поведение и суета в ветвях голубых елей отвлекали и заставляли усомниться в том, что память людей о добрых делах покойного будет долгой. Поведение скандальных птичек сбивало людей на примитив о том, что жизнь каждого возможна лишь сейчас, здесь и лишь однажды. Не живи сколько хочется, а живи сколько получится, удивляясь, что ты еще чирикаешь и хлопчешь за свое кровное. За свои хлебные крохи.



ВНЕПЛАНОВАЯ ТРУБА

Был обычный день начала августа. Воздух раскалил-ся от несусветной недельной жары. Все плавилось, плыло и улетало в виде испарений. Казалось, начисто выпарился кислород, и поэтому дышать было нечем. Пропыленная листва придорожной циклахены, которую у нас повсюду называют амброзией, висела серыми безжизненными тряпками. Все живое, способное двигаться, стреми-лось в спасительную тень.

Совершенно разбитый и раздраженный, Виктор Васи-льевич Соловьев приплелся с работы. Самым естествен-ным желанием было поскорее войти в дом и сбросить прилипшую к позвоночнику рубашку, снять тесные туфли, пряжки которых весь день безжалостно точили подъемы его ног. Еще больше хотелось опрокинуть в себя с полве-дра живительной влаги, смыть соль и накопленное элек-тричество. Второе было неосуществимо, поскольку летний душ сам изнывал без воды.

Соловьев переоделся в просторные шорты и свежую фут-болку, достал воды из колодца и пил ее мелкими глоточ-ками, смакуя блаженство и металлическую ломоту в зубах. Его утомленный мозг как бы отдельно от тела внушал, что многих неудобств можно избегать, если хотя бы как-то за-ботиться о себе же самом. В конце концов, нетрудно было прошлым вечером налить воды в емкий тракторный бак на крыше душа, и теперь он упивался бы неземным блажен-ством. Вполне можно было бы и не тащиться под изнуря-ющим солнцем по мягкому пыльному асфальту, а ехать на

своем почти новом «Иже» с оцинкованным кузовом. Но, как всякий человек, заимевший собственное авто после со-рока, Виктор Васильевич все никак не мог оценить благ от его обладания и продолжал ходить на службу пешком.

Дочь Соловьева, читавшая в теньке заданного на лето Вальтера Скотта, а скорее, просто сидевшая, размалинен-ная, с книгой, жареными семечками и котом на коленях, без тени сочувствия и сострадания объявила:

– Пап, тут к тебе какая-то бабуля приходила. Говорила, что у нее не идет вода и чтоб ты к ней пришел.

– Что за бабуля? И при чем здесь ее вода? – раздража-ясь, вопрошал Соловьев, вполне уже догадавшись о ком и о чем идет речь.

– Не знаю, пап. Она сказала, что тебе надо обязательно прийти, – уже сочувственно добавила дочь.

– Ну, ладно, ладно... Разберусь как-нибудь, – пробурчал Соловьев, окончательно расстроился и покорно поплелся вновь переодеваться. Неудобно в шортах появляться на люди, когда полгорода знают тебя как положительного и серьезного человека. По пути Виктор Васильевич заглянул в холодильник, ополовинил трехлитровую банку молока, смочил волосы под краном и решительно шагнул за порог.

Спустя пятнадцать минут, в совершенно мокрой футбол-ке, Соловьев входил в прохладный подъезд шестнадцати-квартирного дома, где за ним оставалась приватизированная квартира. Семья Соловьевых не жила здесь более пяти лет, но они не продавали ее. Не продавали потому, что было жал-ко лишиться своего первого собственного жилища, где роди-лись их дети и где произошло так много приятных событий молодости. Хотя, конечно, разумнее было давно сбыть квар-тиру, а не платить зря за отопление, не пуская жильцов и не имея никакой пользы от пустующей жилплощади.

Отдышавшись, Соловьев решительно постучался к Клавдии Матвеевне, полагая, что именно она и приходила

сегодня по его душу. За дверью послышалось размеренное шарканье, подошедшего неспешно идентифицировали через дверной глазок и только после этого послышался трескучий голос хозяйки:

– Входите, входите. Не заперто.

Соловьев вежливо поздоровался, переступил порог и разулся в прихожей. Клавдия Матвеевна – одинокая старушка без возраста, с лицом, напоминавшим и цветом и формой прошлогоднюю картошку, позвала на кухню. Деловитая подобранность и решительный тон сулили нечто муторное и тоскливое. Надо признать: сама Клавдия Матвеевна вызывала в Соловьеве не то чтобы неприязнь, но какую-то плохо объяснимую неловкость. И эта неловкость появлялась не оттого, что Виктор Васильевич был еще молод, а перед ним находилось нечто слабое и с виду беспомощное. Неловкость, пожалуй, рождалась оттого, что Клавдия Матвеевна не имела детей и была одинокой. В другом конце города жила ее родная сестра, но они почти не знали и виделись редко. Неловкость исходила и от поджатых губ, глубоко посаженных глаз, от темного берета, повязанного сверху платком, которые старуха не снимала ни зимой, ни летом.

Не произнеся ни слова, Клавдия Матвеевна открыла кран, из которого тончайшей струйкой потянулась водица. Соловьеву захотелось пить.

– Ну, что будем делать? Видите, теперь и у меня вода не идет. По ночам еще напор есть, а днем, сами видите, просто беда, – с осуждением глядя на собеседника, констатировала Клавдия Матвеевна.

Соловьев не знал, что ответить ей, и смущенно молчал. К воде Клавдии Матвеевны он имел такое же отношение, как, к примеру, к ее печени. То есть совсем никакое.

– Давайте вот что, – уловив затруднение гостя, подсказывала бывшая учительница начальных классов. – И у вас

тут нет воды, и у меня. Вам надо воду проводить и мне решить задачу, – продолжала Клавдия Матвеевна.

Старушка отодвинула половик и попросила Соловьева поднять деревянный лючок в полу, под которым обнаружались запотевшие трубы и вентили.

– Видите эту трубу? – ткнула коричневым пальцем бабуля. – Она идет к Ломтевым и к Звонниковым. Она положена здесь внепланово и не по правилам, – с таинственным торжеством в голосе объясняла Клавдия Матвеевна. – Ее надо отрезать, и тогда вода будет и у меня, и у вас. Я поддалась на уговоры и пустила их врезаться, а теперь вот сильно пожалела. Трубу надо теперь отрезать.

Озадаченный таким радикальным направлением замыслов старушеницы, Виктор Васильевич тактично отклонил ее претензии:

– Клавдия Матвеевна, но Вы же сами разрешили соседям приварить трубу. Как же я могу ее резать без их ведома? Да и мне это собственно ничего не даст. Ко мне ведет другая ветка.

– Как же так не даст? – настаивала старушка. – Очень даже даст. Вода-то ведь уходит по этой внеплановой трубе, а нам с Вами что остается? Шиш. А за воду спрашивают регулярно. А еще они нарушили мне фундамент, и из коридора ко мне поступает теперь холод и сырость. Все в квартире теперь мокнет, потому что не по закону и не по плану сделано, а лишь бы себе хорошо было. А соседи для них – черт с ними.

– Да, дыру, конечно, надо заделать, – легко согласился Виктор Васильевич. – А насчет моей воды... так ее нет из-за того, что стояк забит ржавчиной и глиной. Его давно надо менять, – простодушно пояснил Соловьев.

– Менять ничего не надо, – убежденно возражала Клавдия Матвеевна. На ее щеках даже выступило нечто похо-

жее на румянец. – Вода у Вас начнетса, как только отрежете незаконную трубу. Только и всего. Это ж ясно, что вода вся уходит не по назначению, а нам с Вами ничего не достается.

Соловьев терпеливо и настойчиво, как не слишком сообразительной ученице, растолковывал старой женщине, что воды у него не было и до того, как Ломтевы и Звонниковы положили новую трубу. Он убедительно просил разрешить и ему поменять стояк и присоединиться к главной трубе.

– Вы грамотный и хорошо образованный человек, Виктор Васильевич, и все легко поймете, – упорствовала Клавдия Матвеевна. – Подключиться я Вам разрешу, но внеплановую трубу надо обязательно отнять.

Слова старушки прозвучали неким компромиссом, но и сильно озадачили. Виктор Васильевич пребывал в значительной зависимости от общественного мнения и доброго мнения о нем. Он принадлежал к той категории людей, которые, однажды узнав, что кто-то хорошего мнения о нем и высоко ценит в нем добродетели, наперед уже всеми силами стремился нравиться и боялся разочаровать. Даже в отношениях с женщинами Виктор Васильевич отдавал предпочтение тем из них, которые отдавали предпочтение ему. Соловьеву смерть как не хотелось разочаровывать пожилую женщину новыми возражениями, и он в ответ промямлил туманное:

– Надо подумать, как тут лучше... Может, как-то и решим... Может, опытный сварщик что-то посоветует и подскажет... Я поговорю с кем надо.

С тем они и расстались.

Через неделю, не без труда раздобыв трубы, сгоны, вентили, карбид и сварщика, Соловьев вновь появился в подъезде на Лесной и нарочито радушно приветствовал Клавдию Матвеевну. Бодрый, поджарый сварщик тем временем деловито расставлял свою амуницию, курил, задавал во-

просы и плоско шутил, не обращая никакого внимания на возраст бабули. При этом через слово он произносил свое фирменное «бля», что у него выходило и не то чтобы матом, но и не слишком благозвучно.

Соловьев был человеком отчасти интеллигентным, да к тому же гуманитарного склада, и обычно робел перед работягами. Он даже чувствовал себя скованно уже оттого, что приходится беспокоить рабочего человека, оттого, что хотя и сам не белоручка, но труб варить совсем не умеет. Ему было крайне неловко и за грубоватые речи сварщика, и за то, что доставляет неудобства старой женщине, воняя в ее жилище карбидом и впуская из подъезда больших зеленых мух. Он, как мог, старался сгладить неловкости пространными любезными разговорами, поддакиваниями и вздохами типа: «А кому сейчас легко?» Ему хотелось заговорить, отвлечь старуху, успокоить ее тревоги, но она была начеку. Она была натянута как струна, собрана как солдат перед решающей атакой.

Указав сварщику на трубу, ведущую в квартиру Звонниковых и Ломтевых, Клавдия Матвеевна в категоричной форме предложила отрезать ее. На это бодрый сварщик, лишенный всякого такта и дипломатии, ответил:

– Га, я отрежу, а они мне морду набьют. Так не пойдет, бля, бабка. Мое дело – вот ему стояк приварить, а вы там сами разбирайтесь, бля, что почем...

У Соловьева заболела душа. Им овладели тоска и раздражение. Хотелось сказать этому неотесанному обалдую, что он неотесанный, что не его одноклеточного ума о делах пространно рассуждать, а молча делать, что тебе велят и что ты умеешь. Но Виктор Васильевич, как всегда в таких случаях, промолчал. Образовалась нехорошая тишина. Бабуля, обидевшись, еще крепче сжала губки.

Чтобы оградить женщину от бесцеремонного сварщика, Соловьев попросил ее выйти на воздух, в тень. Там

он надеялся как-то разрядить ситуацию. Их разговоры-переговоры длились около двух часов. Виктор Васильевич использовал все свое красноречие, убеждая бабушку, что вновь присоединенные трубы никак не помешают ей, что вода нужна всем жильцам подъезда, что с соседями желательно жить в мире и дружбе, особенно когда тебе за восьмой десяток. С глубочайшим напряжением он выслушал много раз слышанную историю о том, как трудно пришлось бабуле на оккупированной немцами территории, как далеко и почему-то всегда в метель ей приходилось в молодые годы ходить пешком в соседнее село, чтобы там добросовестно учить детишек быть честными, трудолюбивыми и послушными. Он терпеливо выслушал упреки в том, что у нас сменился политический строй, что нет теперь в стране порядка, какой был при Сталине, что Чубайс и олигархи-евреи творят, что хотят, и что теперь никто совершенно не почитает пожилых. Еще немного – и Соловьев был бы готов извиняться за то, что не воевал с немцами, не пережил ни голода, ни холода, что Клавдии Матвеевне за ее трудами оказалось некогда выйти замуж. Он искренне обещал заделать крепчайшим раствором все дыры, дырочки и трещинки под и над трубами.

Украдкой посматривая на часы, он нехорошо думал: «Одолела своими маразмами, занудная старуха. Отпросился на час, а уж вот он обед». Воображение рисовало кислую физиономию шефа и его, Виктора Васильевича, малодушное лепетание в свое оправдание.

Наконец, дело было завершено. Вода из крана в квартире Виктора Васильевича засеребрилась полноценной струей. Был напор и в кране Клавдии Матвеевны.

Сварщик прямо у подъезда вывалил разложившийся карбид, постучал опрокинутой флягой о землю, ополоснул свою вонючую бадью, смотал шланги, погрузил свои причиндалы в багажник машины Соловьева и не спеша заку-

рил «балканку». На призыв старухи отрезать внеплановую трубу он лениво отвечал:

– Га, я отрежу, а хозяйва мне, бля, потом по морде. Не-е, так не пойдет. Это уж вы тут, бля, как-нибудь сами разбирайтесь. Мое дело маленькое...

Скомканно попрощавшись, с заверениями этим же вечером заделать дыры, Соловьев поспешил ретироваться.

Вечером, однако, старуха встретила Соловьева весьма сурово:

– Нечего Вам делать в моей квартире, – скороговоркой произнесла она заранее заготовленную фразу, и видя растерянность и досаду на лице Виктора Васильевича, пояснила: – Я же просила Вас, Виктор Василич, как грамотного человека, отрезать внеплановую трубу, а Вы не послушали меня и делали свое дело. Разве так можно? Разве так поступают с соседями?

Стараясь подавить смущение, Соловьев, спокойно и аккуратно подбирая слова, объяснял старой женщине, что не имеет никакого права портить чужую трубу, что это будет скандалом, что бабуля сама позволила соседям врезаться, что не имеет значения, что соседи приварили трубу на десять сантиметров ниже прежнего места. Но Клавдия Матвеевна не хотела ничего слушать и понимать. Ее глаза и жесты источали ярость и непреодолимую решимость. Она будто помолодела от внутреннего напряжения, перебивала Соловьева и возбужденно сыпала упреками:

– Вы же грамотный, с высшим образованием человек. Как вы не поймете, что от этих труб у меня и холод, и сырость в квартире? Я пожилой, заслуженный человек и инвалид. У меня кость головы и та с молодости поморожена. Я натерпелась в молодости от немцев, за семь километров ходила пешком в школу, чтобы выучить таких, как Вы. Я ветеран труда, нахожусь на группе и должна быть полностью освобождена от уплаты отопления, а вместо этого получаю

от соседей одни грубости. Разве так можно? Вы же должны были отпилить ненужную трубу. Она здесь проложена не по закону. Вы посмотрите, у меня от сырости и соль, и сахар сырые и углы почернели, а раньше такого не было. Я ложусь в постель и мерзну, а почему-то раньше не мерзла.

Соловьев в который раз попытался втолковать, что по всем законам физики и других умных наук двадцать сантиметров соседских труб никак не могут испортить климата в квартире, что охотно сам готов заизолировать трубы так, что они ни холода, ни сырости не дадут даже теоретически. Но все доводы Виктора Васильевича были гласом вопиющего в пустыне. Отъезжая от подъезда, он мысленно клял последними словами строителей и проектировщиков, кои удумали устроить водопроводную развязку в квартире упертой старухи.

Через неделю директор коммунального хозяйства сообщил Соловьеву о том, что Клавдия Матвеевна подала на его имя письменную жалобу с требованием отрезать трубу соседей. На Соловьева она не жаловалась, но фамилию его зачем-то упоминала.

Комиссия в составе директора, обоих инженеров и мастера коммунхоза побывала у Клавдии Матвеевны с целью выяснения существа жалобы. Трое рабочих заделали дыры и надежно заизолировали все, все, без исключения, трубы. Казалось, инцидент был исчерпан и все проблемы сняты ко всеобщей радости и удовлетворению. Ан нет!

Через десять дней Клавдия Матвеевна явилась на работу к Соловьеву. Тот вышел из-за стола ей навстречу, любезно предложил присесть и демонстрировал само внимание и почтение. Но, отмахнувшись от реверансов хозяина кабинета, Клавдия Матвеевна из слова в слово повторила прежнее требование отрезать внеплановую трубу.

Взвешивая каждое слово, Соловьев ровным тоном объяснял, что не имеет права резать чужую трубу, что никакого

вреда здоровью бабули труба не несет. Он вновь заверил, что с величайшим почтением относится ко всякому, кто был под немцами и кому приходилось за семь километров в соседнем селе сеять разумное, доброе, вечное. Прикладывая руку к сердцу на манер французских футболистов перед важной игрой, он клялся, что разделяет мнение многоуважаемой пенсионерки по поводу неоправданной смены политического строя. Он решительно осудил тех, кто развалил Советский Союз, кто обманывал советский народ с ваучерами и разворовал богатейшую в мире державу. Их общение напоминало спор безнадежно глухих, и расстались они с тем же, с чем и встретились. Каждый остался в своих окопах.

Позднее Соловьев много раз встречал Клавдию Матвеевну в приемной глав городской и районной администраций. Она пожаловалась на него непосредственному шефу, и шеф пару дней ходил с написанным на его челе выражением: «Не ожидал, не ожидал, Виктор Васильевич...» По несколько раз в квартиру протестующей пенсионерки наведывались чиновники и специалисты-практики, депутаты и представители прокуратуры, дальние родственники и ближние посторонние. Еще восемь раз она побывала в кабинете Виктора Васильевича, повторяя с минимальными отклонениями прежние соображения относительно соседей, немцев и внеплановой трубы. При одном из посещений она, утратив над собой всякий контроль, открыла ему некий момент концентрированной истины:

– Вы тут сидите, тысяча огребаете, а заслуженные люди не могут добиться правды... Токо и знаете, как обманывать простой рабочий народ... Развалили страну со своим Ельциным... Никак не нахапаетесь... Сталина на вас всех надо. Он бы научил, как работать...

Соловьева, немного знавшего историю России, пережившего как личную драму развал КПСС и Советского Союза, жившего долгое время на скромную зарплату, обвинения

гадкой старушечки здорово обидели. Внутри него клокотало и рвалось наружу его рабоче-крестьянское происхождение. Ему хотелось вынести за дверь вместе со стулом эту пропитавшуюся желчью бестолковую и некрасивую старуху.

Не раз Соловьев умолял жалобщицу подать на него в суд, который бы определил, чем собственно он перед ней провинился. На это она всякий раз отвечала, что в суде придется платить деньги и что как начальник и грамотный человек тот обязан безо всякого суда отрезать трубу и восстановить поправленную справедливость.

День ото дня Виктор Васильевич Соловьев ощущал, как внеплановая труба все больше и больше вторгается в его жизнь. Как она неумолимо ложится на его честь и достоинство, как все чаще овладевает его беспокойными мыслями. Все родственники, друзья и сослуживцы давно были в курсе постигшего его несчастья и сочувствовали ему на манер неизлечимо больного.

Виктор Васильевич был хорошо осведомлен о том, что, обойдя все районные инстанции, упрямая старушка написала жалобу губернатору, потом представителю полномочного представителя Президента, потом еще раз районному прокурору, затем по нарастающей областному прокурору, потом в центральную газету и в совет ветеранов войны и труда и правоохранительных органов и, наконец, решилась-таки побеспокоить лично Президента.

О внеплановой трубе, денно и ночью несущей холод и сырость в квартиру заслуженного ветерана, узнали повсюду, вплоть до Кремля. И везде озаботились, и везде желали принять срочные меры. В местную администрацию шел поток писем, а из местной администрации ровно такой же поток отписок. Ответы были под копирку, только с разными адресами и датами.

Зная обо всем этом, Соловьев крепко переживал. Он стал печальным, нервным, заметно похудел и подурнел. А

однажды ему приснилось, как Клавдия Матвеевна, сверкая очами, пилит большущей ножовкой его левую руку, злоеще приговаривая:

– Это Вам, Виктор Васильевич, за внеплановую трубу-у-у!!!

Соловьев долго метался в постели, тужился закричать, но все никак не мог и, наконец, огласил свое жилье отчаянным воплем, разбудил жену и детей, спавших в дальних комнатах. Они поспешили к нему, сильно встревоженные, утешали его и гладили руки, а он сидел в кровати и виновато оправдывался:

– Ничего, ничего... это я так... просто приснилось. Будь оно неладно. Надо же такому присниться?

Потом он долго не мог заснуть, смотрел телевизор, пил чай на кухне, отрешенно думал, что так недалеко и до помрачения рассудка. Он проклял и день, и час, и месяц, когда откликнулся на зов беззащитной бабули.

В попытках найти выход из безвыходной ситуации Виктор Васильевич однажды даже пришел к мысли бросить все и переехать на родину в Колодеевку, где освободилось место учителя начальных классов. На днях в пожарном порядке за бесценок Соловьевы продали свою квартиру на Лесной. Глава семейства не может даже смотреть в сторону своего прежнего жилья, но абсолютно не уверен, что развязался с треклятой трубой. Восьмидесятишестилетняя старушка держится вполне бодро и по-прежнему полна решимости продолжать борьбу с волюнтаризмом соседей, повлекшим возмутительное отклонение от проекта.





ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ

В колхозе «Освобожденный труд» объявили о проведении отчетно-выборного собрания. По этакому случаю завклуб Косякин всю ночь двумя самодельными «козлами» топил помещение. Выстуженный долгим отсутствием отопления, клуб плохо набирал тепловые калории. Косякин своим старанием чуть было не спалил сам очаг культурной жизни. Под утро, когда завклуб дремал, уставший от бессонной ночи и приличной дозы самогонки, от расплавившейся розетки загорелась штора. Завклуб вовремя погасил ее путем сдергивания вместе с багетом и изрядным куском художественной лепнины. Чтобы проветрить помещение, Косякину пришлось раскрыть двери и форточки. Противный холод вновь проник в зал для заседа-

ний. Стало хуже прежнего, поскольку к холоду добавилась стойкая вонь горелой пластмассы.

Собрание было объявлено на девять часов, но к означенному времени у клуба сиротливо стоял только «УАЗик» председателя Павла Васильевича. Его громкая брань насчет способностей завклуба завалить любое важное дело подчеркивала значимость предстоящего мероприятия.

Народ же, как обычно, неспешно, в привычном графике, кормил скотину и чистил от навоза свои подворья. Наиболее равнодушные к делам колхозным лениво ворчали: «Они бы еще в шесть проводить обдумали. А то и не знают, что людям надо со скотиной убраться». Равнодушные скептически добавляли: «Собирайся, не собирайся – все одно толку никакого». Однако и те и другие на собрание пойти все же подумывали – в последние годы и так вместе их собирали только по случаю очередных выборов в различные уровни власти.

Между тем на клубной сцене появились стол президиума, покрытый старым, в пятнах неизвестного происхождения, бордовым плюшем, трибуна с чисто вымытым графином и урна для голосования. Малыми группками народ подтягивался к очагу сельской культуры. В основном это были мужчины.

Пришедшие в зал не заходили, а курили на ступенях, приветствовали вновь подходивших и обменивались последними новостями. Мужчин волновали преимущественно вопросы внешней государственной политики, рыбалка и поведение односельчанина Кольки-Быка. Этот самый Колька по уличному прозвищу Бык пару дней назад в сильном подпитии избил свою жену и выгнал ее из дома, а потом из неукротимой ревности побил стекла своему соседу через два дома, поскольку ему показалось, что жена отправилась ночевать именно к нему, невзирая на то, что у соседа ночевала и своя собственная супру-

га. Мужиков интересовал не сам случай как таковой, а в основном «стеганула Быка белуга или просто он осерчал более обычного».

К десяти часам все, кому хотелось прийти, пришли, и начальство решило собрание начать. К трибуне степенно вышел колхозный председатель – Павел Васильевич Перегудов – мужчина еще вполне репродуктивного возраста с легкой проседью в коротенько стриженных рыжеватых волосах над крепким основательным лбом и могучей шеей. Его округлое буроватое лицо с голубоватыми, слегка выцветшими глазками источало простодушную близость к народу вперемешку с традиционной строгостью отца-командира. Габариты председателя тела не позволяли ему вписаться в края узковатой трибуны, и он стоял полусогнувшись и полубоком к столу президиума.

Павел Васильевич сам предложил состав почетного президиума из представителя от района, главбуха Каланчиной, бывшего председателя-пенсионера и постоянно передового механизатора Петра Кривобокова. Затем он же огласил всю повестку дня и предложил утвердить ее путем дружного поднятия рук. Колхозники не возражали, и после нехитрых процедурных моментов председатель взял слово для отчета о проделанной работе за год. Говорил он на странном для любого, более-менее русского человека языке, но его воспринимали без юмора и не пытались язвить даже тогда, когда председатель выдавал «перлы» типа «не нытьем, так катаньем» или «катались, как кот в масле». В наших деревнях не придают значения смыслу произносимых слов. У нас в привычке слушать не слова, а интонацию. Председатель говорил:

– Товарищи колхозники, колхозницы и уважаемые наши пенсионеры. Безо всякой там буфатории и все такое прочее, безо всяких там бумажек, а по-простому, я сделаю доклад безо всякой натуги. И скажу, что есть у нас всякое:

и хорошее, и, как говорится, ни себе ни людям. Скажу прямо, невзирая на некоторые личности.

Председатель сделал паузу, не спеша осмотрел зал и искал стакан, чтобы налить себе воды, но стакан оказался почему-то в президиуме, и председатель, махнув рукой, продолжал:

– Несмотря, товарищи, ни на что, в нашем хозяйстве поднялась в истекшем году производительность труда. Так, в третьем квартале прошлого года она поднялась на два процента, в четвертом она опять поднялась на три процента, и по сей день, должен вам констатировать, она продолжает подниматься. Не случайно поэтому нас уже два раза с хорошей стороны показывали по телевидению, и я не думаю, что больше не покажут. Еще не один раз покажут, потому что есть еще у нас плохо освещенные, не вскрытые еще места, включая еще и не всю производительность труда.

Главбух Каланчина и другие члены президиума с внимательным пониманием разглядывали докладчика, а он, решив, что пришло время более острых аргументов и обещанной критики, в бодром темпе продолжал:

– Я, конечно, извиняюсь и не буду смолчать, но кое-кому мы своими успехами по нашей Прибитюжской зоне нос подтерли, как говорится, и кое-кто этим недоволен. Как же, мол, так? Пальму первенства увезли к себе и весь пьедестал ступеней заняли без всяких подтасовок и безо всякого кумовства.

Председатель требовательно взглянул на президиум, и, увидевши, как в знак согласия, глядя в стол, кивает представитель из района, со скрытой угрозой в голосе продолжал:

– И пусть кто-то нам завидует, а мы будем заслуженно, до последнего продолжать стоять на этом же пьедестале.

Павел Васильевич притормозил свою речь в надежде услышать аплодисменты, но, скоро сообразив, что их не последует, продолжил развивать прерванную мысль:

– Ну, а если кто к нам хочет поучиться. Ну и пес с ним, как говорится, милости просим. У нас ворота не запёрты. У нас любого есть, чем встретить. Будем только рады. А успехи скрывать нечего, у нас есть, но не каждому дано их увидеть. Ведь это кто, что хотят увидеть. Кому нужны вскрытые резервы, а кому и так сойдет с рук. С этим и у нас тоже надо еще бороться. Это надо и у нас искоренять без лживого патриотизма и буфатории. А то ведь каждому и не угодишь и к каждому недовольному не пристроишься.

Пока сидевшие в зале пытались сориентироваться, куда клонит их председатель, тот продолжал:

– А теперь, в порядке самокритики, я буду сказать, что пока у нас хватает и недостатков, над улучшением которых нам, как говорится, еще как медному котелку работать и работать. Хотя бы взять и поднять вопрос по обеспеченности крупнорогатого скота канцкормами и миндобавками. И даже не об этом покамест речь. Ни в какие двери пока не прет, что разворовали даже солому и кормить скот скоро нечем. Даже я тут не пойму: это разгильдяйство или последствия пьянства?

Председатель достал из футляра очки, пристроил их себе на нос, посмотрел рассеянно в зал, снял их и, глядя в президиум и показывая могучей рукой в сторону зала, заявил:

– А виноваты, между прочим, в основном скотняка. У них ни учета путевого, ни порядка. Хотят работают, а хотят за печкой дома пролежат. Авось, думают, им зарплата идет, и пусть начальство за них думает и в ус себе не дуёт.

С места порывисто поднялся парень Витька Боев:

– А при чем тут скотняка? Как чуть что, так сразу скотняка, а где учетчик? Учетчика сократили, а зоотехника днем с огнем не видать, а виноваты скотняка... Слишком много загоняем частникам...

– Обожди-обожди, – остановил Витьку председатель.

В зале загудели, зашевелились.

– Правильно Витька говорит. Нечего валить. Сами пропивают больше. Зерно машинами налево толкают, и кто-то им теперь виноват...

Председатель возмущенно глядел на Витьку.

– Вы обождите, обождите. А ты, Витька, лучше сядь, вон, пока на место. Ты еще молодой, горячий и много еще не знаешь. Я в твои годы больше девками занимался, чем политикой.

Но Витька, видя поддержку зала, колебался, садиться ли, и набирал воздуха в легкие для еще более громких возражений.

– Садись-садись, – раздраженно указал ему на место председатель.

– Здесь есть кто и без тебя постарше, кто может сказать. Товарищи! Давайте соблюдать, как говорится, кворум...

– Регламент, – тактично подсказал представитель из района.

– Да-да. Регламент надо всем соблюдать. А то так у нас одна вахканалия получится. Никто тут и не говорит, что у нас нет недостатков. Их у нас, если хотите знать, как собак нерезаных – только отбавляй. Но я хотел вначале заострить внимание, что успехов в этом году у нас, я бы сказал, поболее, чем в том году. Они есть, и их не скроишь тоже. Их увидит любой, кто захочет и кому это надо. Взять хотя бы ту же урожайность...

– Успехов-то у нас – море, перебил председателя механизатор-пенсионер Иван Семенович Голев. – Успехов – море. Только купаемся в нём не мы – колхозники. Но об этом помолчу – так мне заметно лучше будет. А ты вот скажи, Пал Василич, когда ж это колхозники получают за свои пай? И когда это отдадите проценты за сено?

– Это хороший у тебя, Семеныч, получился вопрос, – бодро прокомментировал председатель.

– Садись пока, Иван Семенович. Вопрос действительно задан правильно и своевременно, и, главное, мне есть, что

на него возразить. Садись пока, пожалуйста, Иван Семенович, и другие, кто хотят задать такие вопросы, тоже пока не вставайте. Тут есть много разных затык. Перво-наперво, денег у нас на данный момент, вы знаете, пока что временно нет. Объясняю почему их временно нет. Сначала мы решили отдать всем зерно – все равно его у нас было с избытком, но потом мы решили притормозить зернецо, обождать до хорошей цены и выдать всем, как и положено, деньгами, а цена вместо того, чтобы подняться, совсем упала. А тут, как назло, с нас срочно потребовали вернуть по кредитам, закрыли счета и описали зерно. На нем теперь этот дурацкий арест стоит и снять его пока что никак нельзя.

В зале дружно загалдели: «Чего это арест? Почему нельзя? Открывай склады и выдавай людям, кому скоко положено. Пусть попробуют отобрать потом. Как пай нужны, так к нам, а как рассчитываться – так арест. В чем это мы провинились, чтобы наше зерно под арест? Это что за грабеж? Кто имеет право арестовать?»

– Тише-тише, товарищи, – увещевал председатель. – Мы все по-тихому порешаем. Давайте мы закончим вначале эти прения, а потом можно и вопросы. У нас еще ревкомиссия и другие выступления в прениях, и я сам не кончил доклада.

С места поднялся некрасивый носатый мужичонка, которого на деревне все звали Прокопом, хотя он по паспорту значился Александром, а Прокопом как раз именовался его покойный отец. Повернувшись вначале к залу, а потом к председателю, не опуская тощей руки, Прокоп возмутился:

– У меня вопрос к тебе, Пал Василич. Нет, чаво тута антиномию эту разводить? Чаво без всякого толку про улучшения болтать? Все улучшения на весь наш колхоз – твоя новая «Волга». А остальные улучшения – последний хрен

без масла доедаем – вот и все наши улучшения. Коллективизацию по новой надо начинать и Сталина подымать, чтоб он нас сек поперек и вдоль задницы. Одна безобразия кругом. Спились все поголовно. Даже бабы и те пьют, как перед концом света.

Из задних рядов долетела развязанная реплика:

– Ты вопрос давай задавай. А так чего митингуешь? Запишись давай и выступай по очереди.

Прокоп, не удостоив вниманием автора замечания в его адрес, спокойно возражал:

– А что? Я и без очереди могу. Имею право. Авось все жили с тринадцати годов в колхозе повытянул, а даже не ветеран труда получился. Там мне говорят, медаля нужна. А нам, старикам, какая теперь медаля? Осталси один крест дубовый... в ногах. Скоро все перемрем с такой работой. Детей одних жалко. Куда податься? Никто не знает. Сидим тут. Решаем. Акционеры какие-то, хозейва на бумаге, а сами нищие побирušки. Ни государству, ни району не нужны мы ни грамма. И себе тоже. Вот такая моя заключения будя. Можа она, конечно, кому и поперек глаза стебает, но другова сказать нечева. А докладать про успехи, я считаю, нечева. Всё уже доклали... по своим карманам. Токо у кого он оттопырился, а у кого с большой дыркой.

Зал загудел, заерзал с удвоенной силой, будто кто-то подал к тому команду. Председатель попытался перекрычать и успокоить собрание, но его никто не слушал, и он остался стоять, переминаясь с ноги на ногу, не зная, продолжать ему выступать или садиться. Силу набирала колхозная стихия, не желавшая никому подчиняться и никого слушать. Ничего доброго такой оборот предвещать не сулил.

Поднялся и вышел перед всеми Шаров Иван – высокий, плотный мужчина лет за сорок, черный, усатый, с неряшливой шевелюрой и крепкими зубами. Он трудился трактористом и числился на хорошем счету. В свое время Иван

прослыл лидером местной футбольной команды, из-за чего за ним утвердилось почетное прозвище Марадона.

«Марадона» поднял руку, подождал, пока поутихнут возбужденная публика и, глядя в глаза председателю, с нарастающим напряжением в голосе начал говорить:

– Ты вот что, Пал Васильч. Ты давай уходи из председателей подобра-поздорову сам. Нечего нам тут лапшу на уши вешать. Хватит. А то ребята-трактористы на вас джже обижаются. А говорить с тобой бесполезно. А то еще так до греха и доведешь. Нервов на тебя уже не хватает. У нас в колхозе живет одна булгахтерия. Все себе да себе. Детей своих вы по институтам за счет колхоза повтыкали, а нашим деваться некуда. Армию отслужат и шлабуняются без работы, а за гроши работать не идут. Народ скотиной и навозом задушился, и еще спасибо старикам: пенсию им хорошо носят, а то совсем крышка. Так что кончай ты этот свой доклад. Я не знаю, кого мы выберем замест тебя. Не знаю. Всех уже по пятому кругу перебрали. Кто на твоём месте дальше воровать будет, не знаю, но дела у нас не будет. А с людьми надо рассчитаться и, наверно, закрыть совсем этот колхоз. Или как его там? АО или АУ эту вашу?

В зале зашумели, загалдели еще громче. Сквозь общий гвалт пробивались отдельные выкрики:

– Правильно, Марадона! Еще про мельницу скажи. Разобрали и теперь мели чем хочешь... Хоть в ступе толки, как в войну.

– А деньги людям отдайте...

– Не одним вам жить хочется...

В президиуме поднялся бывший председатель Николай Михайлович. Он выдержал паузу и стал успокаивать наиболее рьяных:

– Товарищи! Товарищи! Давайте определимся. Во-первых, надо, наверно, дослушать доклад Павла Васильевича.

С мест вновь загорланили:

– Хватит болтологией заниматься.

– Не нужен. Наслушались уже его достижений.

– Пусть сначала деньги отдаст, а потом выступает.

Председатель нерешительно сошел с трибуны и, обиженный, сел в первом ряду. К нему перелетела учительница-пенсионерка Зоя Гавриловна и стала вкрадчиво интересоваться про земельный пай, которого ей почему-то не дали. Она говорила в четверть голоса прямо в ухо расстроенному председателю и виновато улыбалась. А он, глядя перед собой, кивал и ее не слушал.

Слово дали председателю ревизионной комиссии, ветврачу Семыкину. Семыкин по технической причине оказался до неприличия лаконичным. Без конца надевая и снимая очки с толстыми стеклами, он в момент сломал их и завершил свое выступление, щурясь и пугая публику своим новым, неизвестным колхозникам лицом:

– Больших нарушений в финансах не обнаружилось, а так, по разным мелочам, останавливаться не буду.

Семыкина сопровождали до его места незлобивыми, добродушными репликами. По общему мнению, он был мужиком хорошим, а главное, безотказным. Никому не отказал он во всей деревне подкастрировать поросеночка или удалить вздутие боков у коровы. Доброта и мягкость ветврача стали причиной его пристрастия к спиртному. Пил он почти ежедневно, хотя и не так, чтобы с ног валиться. Жена с детьми съехала от него к матери в Щучье. Из скотины у Семыкина остались только собака и кот. Население поступок жены не то что не одобрило, а даже осудило – пьют авось почти в каждом дворе, искренне сочувствовало ветврачу и не отказывало давать понемногу в долг.

Слово попросил бригадир тракторной бригады – дальний родственник председателя и штатный выступающий Цыплаков. Речь его была заранее заготовлена в поддерж-

ку руководителя, но, в условиях недружелюбного настроения большинства, как-то не задалась:

– Хочу сказать о резервах нашего улучшения. Они пока у нас есть, и мы не можем смотреть на них сложа руки. Во-первых, надо своевременно ходить на рабочие места. Это во-первых. Надо ходить, не думая, что с утра у нас никто ничего не делает. Это вредное, я бы сказал, мнение надо переломить. И с завтрашнего дня, с завтрашнего дня я, наверно, точно начну наказывать рублем и по заслугам. А то ведь мало того, что не соблюдаем производительность труда, дык еще и огрызаемся. Это надо прекращать. Прекращать надо на корню.

В зале не то что слушали выступающего, но почему-то не сильно шумели. Бригадир приосанился, ударил себя по бокам, закатил глаза к потолку и решил продолжить:

– А так что сказать? В целом, я скажу, говорить особо не о чем. Хотя, конечно, есть и подвижки к лучшему. Есть подвижки, чего греха таить? А что? Может, они не такие большие, как бы того не хотелось, но они, главное, есть уже у многих. И многим есть, что сказать в свое... в свою заслугу.

В зале нарастал шум, и бригадир благоразумно поспешил округлить свое выступление:

– Ну, а так дела у нас идут в целом на отдельных участках и неплохо. Вот если бы с погодой в этом году повезло, как в прошлом, то успехи будут и впредь более лучшими и гораздо успешными...

Дальше говорить из-за шума в зале не было ни малейшей возможности, да и не о чем, и обиженный бригадир из солидарности сел рядом с обиженным председателем.

Выдержав изрядную паузу, ведущий собрание бывший председатель, согласный с настроением большинства, строго спросил собравшихся:

– Ну что? Давайте посоветуемся. Будем еще тут антимонию разводить или подведем под нее черту? Кто против

всех? Кто за? Кто воздержался? Если нет возражений – принимается единогласно.

Приняв еще более строгий и начальственный вид, бывший председатель решил призвать народ к дисциплине:

– Товарищи. Просьба в другой раз всем поднимать руки, а то кто поднял, кто дремлет, кто в носу ковыряется. Не поймешь. Предлагаю сейчас предоставить слово представителю от района, округлиться на этом и переходить к выборам.

Представитель из района к трибуне не вышел, а демократично, по-простому, прямо из президиума округло обрисовал положение дел в сельхозпроизводстве района. Он доверительно поведал собравшимся о громадных трудностях и больших планах подъема села. В его плавной речи содержались ссылки на диспаритет цен, проблемы с лизингом, ошибки областного менеджмента и возмутительное отсутствие ипотечного кредитования. Ровно половину из сказанного колхозники не поняли, но уловили, что представитель как бы за них, то есть как бы на их стороне.

Вопросов к представителю не последовало, так как всем не терпелось начать голосовать. Многие просто озябли и по ходу собрания выходили не раз покурить и размяться на улицу. В зале появились пьяные, плохо понимавшие, по какому поводу собрание и о чем, собственно, речи. Председатели в «Освобожденном труде» за последний десяток лет менялись чаще, чем флаг над зданием сельсовета, и потому процедура голосования и подсчета голосов была отработана до автоматизма, а справедливость результатов волеизъявления граждан не ставилась под сомнение даже сильно пьяными и хронически бестолковыми. Счетная комиссия бюллетени-полосочки с формулировкой вопроса заготовила заранее.

Голосование проходило дружно, без заминок. По очереди выдавались листочки. Здесь же на подоконнике голосующие ставили в них свои отметки и, со значением типа «как нехорошо», глядя на вконец расстроенного председа-

теля, опускали их в дыру ящика для голосования. Потом бессменный председатель счетной комиссии, учитель-инвалид Николай Семенович объявлял о том, что комиссия приступает к подсчету голосов, и предлагал всем не мешать ей советами и не толпиться, а лучше выйти покурить всем на свежем воздухе.

Спустя двадцать минут секретарша председателя колхоза – молодая, справная девка в вязаной кофте, выйдя на улицу, настоятельно просила мужчин прекратить курить и вновь зайти в зал. Мужчины лениво повиновались и проходили к своим местам, гремя стульями и обшарпанными креслами из слоеной фанеры.

Доклад о результатах голосования был кратким. Из него выходило, что против председателя проголосовало сто семьдесят семь человек, а в его поддержку только шестнадцать – ровно столько, сколько за отправленного в отставку с поста председателя еще в прошлом году Прохорова. По этому случаю сильно возмутился дед Лукашин:

– Дык, а кто эти шашнадцать человек? Кто это такие? Ну ладно, одна положим, Каланчина – главбух, другой вот шофер предов Серега-Пузан...

– А чё эт я? – взвился со своего места Серега. – Ты-то откудова знаешь? Ты чё, со мной рядом, что ль, стоял? Лишь бы брехнуть. Не знаешь, вон, и сиди помалкивай, пока тебя никто не спрашивает.

– А и то, – выпятив небритый подбородок, продолжал дед Лукашин. – Стоять не стоял, а знать знаю. А чаво не знать-то? Это и каждый знает. Кто тебя не знает-то, припешника председателява? Вместе авось и ворочаете. Вместе пьете и зерно загоняете. Вон морду натрескал, ажник лоснится. Хоть котят об лоб бей...

Серега двинулся на деда. Казалось, три ряда сидящих людей ему не помеха. Но его порыв решительно пресекла неродная дочь деда Лукашина Любка-Сазониха, грудью

вставшая поперек Серегина курса. Пузан возмущенно ругался на расстоянии, отчаянно жестикулировал и подпрыгивал на месте:

– Ты, дед, заткнись по-хорошему. А то не посмотрю, что сосед. Развыступался тут. Котят, котят. Иди свою бабушку воспитывай, а меня неча тут. Размахался здесь, как петух облезлый...

Собрание с веселым удовольствием реагировало на перепалку соседей. Большинство было в теме деревенских взаимоотношений, а многие хорошо знали не только предысторию конфликта, но и даже то, чем всё это окончится.

Неделю назад дед Лукашин был, как он сам выражался, «репрессирован компетентным органом». Ночной порой перевез он к дому из открытой кагаты два приличных ходка свеклы. Было темно, и никто не мог этого знать. И мало ли зачем понадобилось деду ночью ехать на собственной кобыле вдоль села? Так думалось деду. Но по непредвиденному стечению обстоятельств той же ночью Серега-Пузан вместе с председателем делали на ферме засаду на расхитителей комбикормов. Поймать они, как обычно, никого не могли, так как сторожа заблаговременно предупредили всех о тайной операции, но вернулся домой подручный председателя довольно поздно. Охотничий пыл его еще не остыл, и, несмотря на темноту, по характерным глухим шлепкам Серега сообразил, что и откуда привез сосед на свой двор. А спустя пару дней шофер ненароком сболтнул председателю о своей ночной тайне. Понимал, конечно, Серега, как нехорошо закладывать соседа, знал, что доносы осуждаются во всей деревне как самое последнее дело, но как-то само собой, к слову, что ли, пришлось, не сдержался и обо всем рассказал. Он и не думал, что председатель так взбеленится по поводу услышанного, что даже напишет заявление о краже своему же участковому. Участковый – совестливый, переуставший от своей небла-

годарной работы человек, ожидавший подписания рапорта о выходе на пенсию, позвал к себе Лукашина, долго сопел и кряхтел, а потом вдруг, не глядя деду в глаза, сообщил, что на него есть заявление. Дед растерялся и вначале категорически откrestился от обвинения, но непрозрачный намек участкового на перспективу обыска в его полном зерна катухе вмиг изменил его позицию, и он во всем тотчас чистосердечно сознался.

Лукашину пришлось вновь грузить свеклу и белым днем возвращать ее на прежнее место. Не позор ли на седую голову бывалого человека? Не унижение ли на старости лет? Красть общественное добро из колхоза – дело обычное и традиционное для каждого, кто не ленив и не испорчен окончательно заповедью «не укради», но вот попадаться, да еще и возвращать потом украденное на глазах у всех – боже сохрани, совсем иной расклад с пятном на биографии.

И вот теперь своей каверзой на собрании дед Лукашин стремился отплатить авторам своего унижения. Момент был необыкновенно удобным: присутствующие в большинстве своем тоже испытывали некое подобие удовольствия от его ловкого хода. Уловив одобрителное настроение зала, дед попытался развить успех деревенских, вне всякого сомнения, низов:

– А кто они, энти шашнадцать-то? Пуцай они встанут. И скажут няхай, зачем это они супротив народу идут? Что-то все голосуют как надо, а энтим что, можно и поперек? Выходит, всем плохо, а энтим дюже хорошо? Значит, защищают председателя. Значит, он им понравился. Значит, не будет и впредь нам никакой лучшей жизни?

В разных концах зала слышались нетрезвые выкрики поддержки и одобрения:

– Правильно. Нечего тут.

– Совсем обнаглели – ни зарплаты не дают, ни совести, ни стыда.

Дед, покосившись на Серегу-Пузана, строго и чинно сел. Видно было, как он смягчился и готов к полному примирению с соседом. Но Серега демонстративно отвернулся. В деревне знали его как непотопляемого, сменившего, несмотря на молодость, чуть ли не с десятков руководителей. Ни у кого не было сомнения в том, что и вновь избранный председатель оставит себе шофером Серегу, а тот же дед Лукашин снова начнет уважать и потакать шкодливому соседу. С этим уж ничего поделать нельзя.

Новое оживление в ход колхозного собрания внес скотник Иван Исаевич по прозвищу Забздох. Никто не знал, сколько лет этому человеку, откуда он взялся в деревне и какая у него настоящая фамилия. Все понимали о нем как о человеке бессмысленном, на работе и в доме малозначимом, но безвредном и чрезвычайно общественном. Когда-то Иван Исаевич работал где-то несколько месяцев завклубом или завбаней и пропитался настолько переживанием за дела общественные, что с тех пор его хотя бы минимальное участие в работе собраний рассматривалось опять же всеми как обязательный и непременный атрибут.

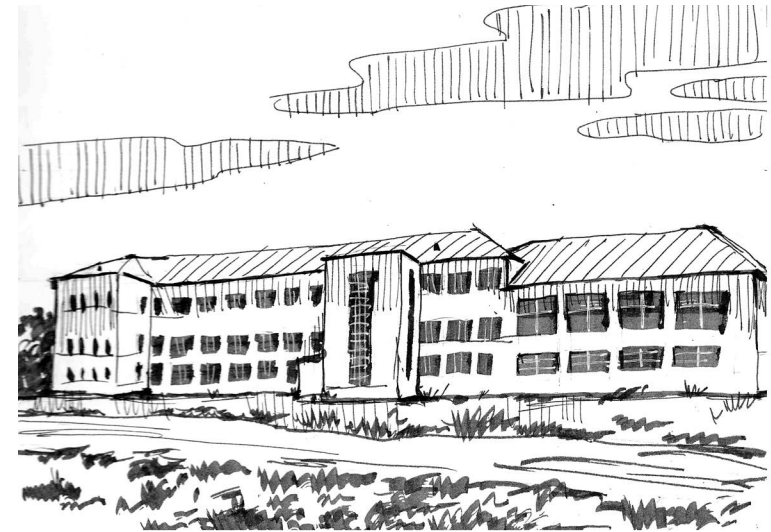
В этот раз Забздох бездарно опоздал к началу, находился под привычным воздействием испробованной браги и, высоко поднявши руку, внес неожиданное для многих предложение:

– А пусть, товарищи, Пал Васильевич доведет до нас, как же он собирается вести колхоз и улучшать неуклонно жизнь? Пусть нам обрисует горизонты дальнейших перспектив. Мы ведь по закону имеем юридическое право знать об этом, товарищи! – Забздох гордо, со значением осмотрел зал и медленно примостился на краешке стула.

Зал разделился. Одни громко гоготали, другие громко объясняли друг другу, что после голосования Павел Васильевич уже не председатель и никаких перспектив обрисовывать не имеет юридического права, хотя, конечно, оно и

жаль, и последнее дело жить без перспектив. Но были и те, которые настаивали на том, чтобы Павел Васильевич нарисовал пресловутые перспективы и обозначил-таки горизонты лучшей жизни.

Настойчивое вмешательство президиума собрания положило конец спорам и веселой возне в зале. Новым председателем хозяйства почти единогласно избрали ветврача Семыкина на том основании, что он им еще не был, а попробовать, конечно, стоит. Через пять месяцев колхоз обанкротился окончательно, паевая земля колхозников досталась ловким арендаторам, а жизнь сельских жителей пока так и не улучшилась.



НЕТИПОВОЙ ПРОВАЛ

Федор Петрович Бубенцов – директор Макарьевской восьмилетней школы любил выпить. Такое не редкость в нашей России, и потому население Макарьевки, включая и самих учащихся, не судило его строго. Более того, большинство снисходительно понимали природу самого директорского пристрастия. Доведись кому попасть из города в слабо просвещенное село без признаков асфальта и культурных развлечений, тут и любому не до благородных манер и изысканных привычек станется. В макарьевской глуши всяк, у кого мозги имеются, захочет затуманить их, лишь бы реже замечать, как жизнь твоя проходит мимо тебя же.

Поначалу Федор Петрович почти что и не пил. Разве что в день учителя, по случаю завершения четвертей, на

годовщину величайшей из революций, в майские праздники, День Конституции, дни рождения свой, жены, детей, всех сослуживцев и хороших друзей. Святое дело для него, как и для его коллег-директоров, набраться до невменяемости на выпускном вечере, когда в тех же кондициях пребывают отцы выпускающихся чад, да и сами чада через одного тоже. Если бы Федор Петрович Бубенцов не напивался, что называется, до поросычьего визга (неудачное, более чем странное, но отчего-то принятое нашим обществом выражение), то его бы никто не понял бы и осудили бы как человека поверхностного, не уважающего общественные устои и, сверх того, не желающего счастья для молодежи – будущего страны и родного колхоза.

Надо принимать во внимание и специфику директорского труда с каждодневными муторными заботами вроде добывания краски на ремонт, борьбы за трезвость кочегаров (участь идеалистов и молодых), написание отчетов, договоров, сочинение приказов, тарификаций, предварительного комплектования, справок и прочая, и прочая. Ежедневно к директору водят нерадивых балбесов не то что не желающих образовываться и пристойно вести себя, но и в принципе презирающих и то, и другое. Директор стремится всеми правдами и неправдами поскорее отделаться от этих балбесов и набрать другим годом таких же или еще хлеще. Повозись со всем этим изо дня в день в обстановке, когда ты лично всем должен и всем обязан и, глядишь, тебе понятнее станет, отчего апатия и усталость у наших директоров. Дабы взбодрить себя, наиболее неравнодушные к делам школьным понемногу, незаметно для себя и окружающих пристращаются попить. Так-то происходило и с нашим Федором Петровичем. Естественным образом количество застолий переросло у него в качество с обильными опохмелами. Тогда уж наиболее пытливые и любознательные обыватели стали подмечать, а то и обсуж-

дать директорский недуг, как недостойный элемент члена партии и человека с «верхним» образованием.

Слухи о вредоносных излишествах Федора Петровича достигли ушей зав. РОНО Суворина, и тот стал присматриваться к Федору Петровичу, а потом принимать меры строгого реагирования. Вначале зав. РОНО Суворин «поощрял» тактично директора, а две недели спустя уже объявил ему строгий выговор «за недостатки в управлении педагогическим коллективом».

Кому надо знали, что за мудрой формулировкой приказа по РОНО кроется не что иное, как потеря школьной печати вместе с портфелем в сильно пьяном виде. На беду это случилось в конце учебного года, когда она (печать) особенно требуется, чтобы заверять оной подлинность зеленых корочек-свидетельств о восьмилетнем образовании.

Печать пришлось срочно заказывать новую, сообщать о пропаже в милицию, хлопотать изготовить ее вне длинной очереди, катать по этому поводу в областной центр лично зав. РОНО, сочинять ничего не объясняющие объяснительные – не дай вам Бог терять печать. Заведующий районным образованием Суворин, ранее уважавший Федора Петровича за отсутствие жалоб из коллектива Макарьевской школы и умение поддерживать в приличном состоянии пришкольную территорию, вместе с выговором на бумаге выговаривал ему и словесно:

– Ты вот что, Федор Петрович, надо тебе остановиться и как-нибудь покончить с этим, э-э-э, пагубным последствием. Сигналы уже доходят и... не один раз. Ты у нас не глупый – сам все прекрасно понимаешь. Другого кого я, сам понимаешь, за потерю печати и авторитета в глазах общественного населения уже погнал бы с работы. – Взволнованный заведующий повысил голос, потом умолк, изучил грустное повинное лицо кающегося Бубенцова и сам собой смягчился. – Со всяким иногда бывает. Все мы

не без греха, у каждого своя соломинка в глазу, но надо бороться и как-то преодолевать.

Веские фразы многоопытного коллеги, познавшего многолетнюю школу руководства малокомплектной школой и преодолевшего в свое время запойное умоповреждение, но при этом умевшего много и небесполезно трудиться, ложились, как принято совершенно правильно говорить, тяжелыми камнями на сознательность Федора Петровича. Он кивал в знак согласия, еще не дослушав окончания фразы, все понимал, окончательно раскаивался в потере печати вместе с портфелем, и на этой волне сам добровольно повинился еще в нескольких огрехах своего труда: слабой постановке наставничества, упущениях в юннатской работе и ослаблении строгого спроса с учителей за дежурства в местном клубе в вечернее время и по праздникам. Суворин остался довольным произведенным внушением, чистосердечным осознанием и чуть было не предложил виновному пропустить «по паре капель» коньячка, который этим утром перепал ему как благодарность за «левую» услугу. В последний миг зав. РОНО сдержался, прощаясь, просто пожал руку и, заглядывая строго сквозь толстые стекла своих очков прямо в глаза Бубенцова, напутствовал:

– Ты там давай, там смотри. Завози побыстрей песок и начинай ремонт заблаговременно. Не тяни сильно. А то и не заметишь, как и лето пройдет, а там и приемка школ. Гляди там.

В ответ Федор Петрович тепло и чувствительно тряхнул руку хорошего человека и отправился на своем обшарпанном мотоцикле «Урал» в свою же Макарьевку.

Профессиональные заботы Бубенцова двигались бы, как прежде, своим чередом: педсоветы, экзамены, помощь колхозу в прополке свеклы, поиск белил на покраску дверей и подоконников. Из года в год у Федора Петровича это получалось не так и плохо, не хуже, чем у его коллег-директоров других школ. Но фактически на ровном месте

произошел у него конфликт с парторгом местного, давно не передового колхоза.

Парторг – молодой и рьяный, сосланный по весне из инструкторов райкома на повышение и для обретения практического опыта работы с массами на местах, вознамерился сделать школу местом гармоничного воспитания молодежи и зачастил в коллектив. То возьмет и придет на открытое партсобрание по обсуждению материалов последнего Пленума ЦК по дальнейшему подъему промышленности Урала и Дальнего Востока, то заскочит и настойчиво выступает на педсовете, невзирая на то, что всем пора тетради проверять, стирать и скотину кормить. А то вдруг неожиданно организовал в школе школу передового опыта атеистического воспитания населения. Было заметно также, что молодой парторг одержим еще и идеей наладить социалистическое соревнование среди учителей по повышению качества воспитания «достойного поколения продолжателей дела Октября». Федор Петрович удивлялся, но поначалу ходил довольный из-за внимания парторга. Он понадеялся с его поддержкой упрочить отношения с крутоватым председателем на предмет получения от колхоза досок, шифера, гвоздей, лампочек, кирпича, цемента, рубероида и мало ли чего еще, крайне необходимого для нужд школы. Но совсем скоро выяснилось, что парторг решение всех этих и других, но таких же задач всецело доверяет лично директору Бубенцову, а свою ведущую роль видит исключительно в проведении бесед с техперсоналом и вовлечении учителей в активную их же внешкольную работу, в оказании им после этого политического доверия путем приема в партию.

Молодой парторг обещал, обращаясь то на «ты», то на «вы»:

– Вы, Федор Петрович, в моем лице всегда сможете найти верного наставника и руководителя. А вместе с тобой мы решим любые вопросы, вместе нам с вами все, как говорится, по плечу.

Федор Петрович хотел было подправить партийного лидера, что не совсем верно говорить «решим вопросы», что решают задачи, а вопросы только задают, но сообразил, что лучше будет пока промолчать. А энергичный парторг, перейдя к злободневным и насущным делам, тут же обозначил задачу «прочитать силами педабработников двадцать пять лекций перед колхозниками в мастерской, на полевом стане, в столовой в обеденный перерыв, во всех красных уголках, на свино- и молочной фермах». Озадаченный Федор Петрович осторожно устранился:

– Боюсь, не получится. У меня половина учителей в отпусках, а половина задействована в ремонте классов. Немого и послать даже.

– Это ничего. Не страшно. Я и не настаиваю сразу всех посылать. Пусть, как только человек выйдет из отпуска, так сразу отдохнувший со свежими силами и идет на ферму, прочитает хорошую лекцию и пусть со спокойной душой потом дальше ремонтирует свои классы. И тебе, Федор Петрович, плюс будет, что люди в твоём коллективе растут и мне не стыдно перед райкомом партии.

Федор Петрович устранился уже определеннее:

– Да не пойдут никуда ни Зинаида Ивановна, ни Луиза Васильевна. Это бесполезно, сами знаете... в их-то возрасте на свиноферму. Чего они там забыли-то? Не пойдут и по возрасту, и как беспартийные, а из-за них и других не заставишь. Если вам это так нужно, то давай отметим в путевках, что все прочитали, как надо и где нужно...

– Как это ты интересно разглагольствуешь, Федор Петрович, – взорвался негодованием горячий парторг. – Как это «если тебе это надо», – саркастическим тоном и не совсем точно цитировал его парторг. – Это что, мне, значит, одному, что ли, надо, а школа, выходит, самоустраняется от важнейшей функции? Ты, дорогой мой, что-то, как я полагаю, не ту линию стали проводить и как член парткома,

и как руководитель в особенности. Я тебя в этом вопросе, учти, не поддержу и на парткоме, думаю, надо тебя заслушать по вопросу массовой работы среди населения.

С того дня не заладились отношения Бубенцова с честолюбивым партайгеноссе. Парторг при всяком удобном и неудобном случае стремился подчеркнуть «не ту линию» директора и «кричащие» прямо-таки промахи его по руководству педагогами по их работе с массами местного населения всей Макарьевки. А уж когда амбициозный партлидер прознал о нехорошем пристрастии Федора Петровича, то и совсем насел на него и принялся активно «сигнализировать» в райком и РОНО. И скоро заведующий РОНО стал все чаще хмуриться и ставить двойки в воображаемый дневник поведения директора Макарьевской восьмилетки.

Педагоги, ранее не одобрявшие нетвердую походку своего шефа, и те оказались в лагере сочувствующих ему. Оно и понятно: вполне ведь по-русски и в духе наших вековых традиций сочувствовать, поддерживать, дружить и даже любить против притесняющих властей. Федор Петрович чувствовал и высоко ценил поддержку вверенного ему коллектива. Он был не склонен доверять одному только завучу-женщине тридцатилетних достоинств, активной, энергичной, жизнелюбивой до крайности, но знавшей при всем себе цену ровно настолько, насколько не желавшей знать ее в отношении окружающих. В амбициях завуча, вне всякого сомнения, крылась угроза занять директорское место при удобном случае. Думая о ней как о конкурентке, Федор Петрович стремился быть начеку и посматривал за своей заместительницей.

Жарким августовским днем, в самый разгар ремонта школьного здания зашел к Бубенцову тракторист Струков с соседней улицы. Зашел он как-то ни туда ни сюда часов около десяти, когда по всем понятиям механизатору надлежало возить по полям жатку, навоз на паровое поле, скирдовать солому или делать что-то другое, столь же необходимое

для неуклонного подъема колхозной экономики. Тракторист этот Струков всем известен был как мужик путевый: трудяга, выпивоха, но в меру, любитель футбола и рыбалки. Из всех обыкновенных достоинств сельских механизаторов не замечена была за ним разве что только прихоть валтузить и гонять законную жену свою по пьяни.

Широко улыбаясь, Струков первым протянул свою прожженную зноем бурую руку:

– Здорово был, Петрович. У меня к тебе есть одно дело. – Струков немного смутился и попрятал руки за спину, так, как это делают «первачки», когда рассказывают стишки на линейке. – Давно вот собирался потолковать с тобой, Федор Петрович. Не знаю, поможешь иль откажешь. Я насчет маво Андрюхи обращаюсь. – Струков нервно сунул руку в карман, извлек красную пачку дешевеньких сигарет, но, о чем-то вспомнив, отправил ее назад. – Ему, Андрюхе-то, этой осенью в армию уже иттить, а у него, небось, знаешь, нет восьми классов. Все никак он, паразит, не вывчиться. Какой год токо нервы всем без толку трепет. – Ласково заглядывая в глаза директору, Струков, наконец, изложил суть своей просьбы. – Петрович, это... мыгрычевое дело... Можя какую-никакую корочку ему найдешь. А? Мож какая-нибудь лишняя где-нибудь есть у тебе. А? Черт с ним, с Андрюхой, подписал бы ему, а то в военкомате требуют, проходу какой день не дают – вынь-положь им срочно документ. – Видно было, как не просто дается просьба не привыкшему что-то просить сельскому пролетарию. Глядя в угол, он, расстроенный, добавил: – В армию откажут, боюсь, зашалавится весь, пить начнет. Жалко, пропадет. А так, глядишь, армию отслужит, посерьезней станет, как все. Ума, глядишь, хоть какого наберется. А? Ты подумай, Петрович. Есть, небось, возможность. А мы-то молчать все будем. Никто ни в жисть никогда не узнает. Все шито-крыто будет.

Федор Петрович хорошо осознавал правоту слов просителя. Андрея Струкова примерно через год оставляли на повторное обучение, заранее зная, что толку от этого не будет. Дальше седьмого класса он так и не продвинулся. А парень уже сложился крепким, спокойным, вполне добрым и совершенно бесхитростным – настоящим сельским. Как его такого выучишь? Андрей стеснялся посещать школу, а после того, как принял трактор, так и совсем забыл думать о книгах и тетрадках. Получался явный перекосяк. Парень вызрел для самостоятельного труда безо всяких удостоверений, но служить родному Отечеству, не имея хотя бы неполного образования, как бы не мог. Сама школа в том, получалось, и была повинна: нечего было добиваться каких-то знаний, а ставить «троечки» и переводить отрока из класса в класс.

Справедливость подсказывала: надо выручать. У любого опытного директора школы найдется чисто случайно затерянные под газеткой, застилающей нижнюю полку сейфа, пара-тройка неучтенных, списанных по акту свидетельств об окончании школы.

Уже вполне определившись в дальнейших своих действиях, Федор Петрович для солидности и усугубления серьезности момента демонстрировал существо своего непростого, нравственного выбора:

– Ну, что ж мне делать с твоим Андреем? Прямо и не знаю, – скоблил обозначившуюся лысинку Бубенцов. – Деваться некуда – надо выручать. Только само собой условие – об этом нигде никому. Ни-ни. Чтобы никто и нигде. Ясно? Иначе мне с работы лететь, партбилет на стол, а дальше... сам понимаешь, за такое «условно» не дадут. – Последние фразы Федор Петрович произносил строго, с оттенком мученичества на своем челе. По его мимике и жестам можно было понять, что он решился на самый отчаянный поступок в своей жизни, уже собрал котомку с сухарями, мыльницей, зубной щеткой и сменой нулевого белья.

– Что ты? Что ты? Что ты, Петрович? – обиженно завозил руками Струков. – Ты об этом и думать не моги. Что ж мы твари, что ль, недобрые какие? Иль совсем не понимаем, хоть и безграмотные. Да за такое-то дело тебе сидеть и сидеть не вылазимши, а не то что. К школе и на пушечный выстрел больше не пустят.

Бубенцова передернуло от такого наивного и искреннего пророчества. Он явно передозировал, кликая кары на свою же мягкосердечную душу, но верный правилу «лучше перебдеть, чем недобдеть» смягчать ничего не стал. Не торопясь он открыл дверцу сейфа, извлек свидетельство, ручку с черным стержнем и принялся старательно выводить «ФИО» нововыученного молодца. Воздавая дань справедливости, по всем предметам, кроме трудового воспитания и физкультуры, директор вывел «удовлетворительно». Внизу Федор Петрович расписался за себя и учителей, а потом постучал новой печатью о начерниленную губку, дыхнул на нее пару раз и смачно приложился аккурат на подписи. Получилось хорошо, строго и авторитетно. Путевка в светлую жизнь с активным сознательным трудом была оформлена.

Тем же временем Струков слетал домой и доставил заблаговременно приготовленный магарыч: поллитровку самогона-первача, помидоры, яблоки и целиком вареную картошку с солью в коробочке из-под спичек.

– Федор Петрович, стаканов искать я не стал. Небось, и так есть? – деловито распоряжался Струков. – Давай выпьем с тобой за то, что уважил меня и Андрюху маво. Давай, давай, Петрович, ради уважения.

Федор Петрович колебался: в принципе-то оно и можно. Как-никак лето, учеников в школе нет, учителей тоже, только завуч у себя где-то да трое техничек панели красят. Но уж больно рано начинать, как-то необычно, и эта жара, а голова и так не своя, наверно, давление. Но Струков уже

безраздельно владел инициативой и заполнял вровень с краями найденные стаканы. Федору Петровичу оставалось только уступить:

– Ладно, сосед. Символически оно можно, а остальное заберешь с собой. Не дай бог, налетит кто на мою голову, – он вспомнил парторга. О нем почему-то подумал и Струков.

Он улыбался и был просто счастлив. Все так хорошо сложилось: и дело важное охлопотал, которое не давало покоя, и, самое главное, директор оказался мировым мужиком и принял скромную плату за большую услугу.

– Давай, тяни, Петрович. Тяни, не бойся, беды не будя.

Самогон оказался колючим – настоящий первак градусов за шестьдесят. Выпили, закусили, перебросились обыкновенными фразами о погоде. От ударной дозы большой крепости голова Бубенцова приятно поплыла. И, может, оно лучше всегда не продолжать бражничать, когда день еще не добрался и до половины, дела далеки до завершения, а жара рвется к тридцати. Но где ж у нас могут начать да остановиться? Кто ж сумеет устоять против, считай, национального инстинкта? За неспешной и не слишком многословной беседой про рыбалку, жару и армейские случаи посудина была опорожнена.

– Петрович, давай сбегаю, принесу. Что тут для двух нормальных мужиков? Токо размялись. Моя промашка, – засуетился Струков. Но Федор Петрович слышал стук каблучков завуча, запротестовал и строго запретил. Разочарованный Струков, совсем трезвый, забыв с досады удостоверение сына на директорском столе, удалился в поле выполнять производственное задание по наряду бригадира.

За окном вблизи закрипели тормоза. Обеспокоенный Бубенцов шагнул к окну и в испуге дернулся от стекол – у дороги остановился «УАЗик». Какая-то нелегкая, но, может быть, и чей-то телефонный звонок принес в Макарьевку Суворина. Попасться ему сейчас на глаза означало

если не немедленное увольнение, то уж взбучку как пить дать, по полной программе с дополнениями и вариациями на все сто процентов. Действовать надо было решительно, а главное, быстро и нестандартно.

Бубенцов выскочил в коридор и мгновенно запер дверь на ключ. Куда дальше? Внутри оставаться слишком опасно – зав. РОНО любит ходить по школе, заглядывать не только во все кабинеты, но и за все шкафы и во все закутки. «Лучше отсидеться в сиреневом кусте, а рядом бурьянок еще не скошили. Можно успеть, пока Суворин дойдет до дверей», – в такт ногам скакала мысль Федора Петровича. Пробегая у торца здания, Бубенцов задел лестницу, приставленную к фронтону школы. «Завхоз, зараза, не убрал. Дверь нараспашку. Так ураганом и шифер запросто сорвет», – злился директор. Даже хмель и опасность оскандалиться не могли выветрить его ответственного отношения к школьному имуществу.

Еще не совсем осознав, правильно ли действует, он обнаружил себя уже на середине лестницы. «Паутину собирать Суворин точно не полезет», – окончательно определился Бубенцов и, невзирая на свою изрядную комплекцию, проворно преодолел остальные перекладины гнущейся лестницы. Навстречу ему рванулась стая испуганных голубей, и он не медля погрузился в сумерки душного и пыльного чердака.

По мере его углубления темень сгущалась, и скоро лишь просветы тоненьких лучиков сквозь пробитые гвоздями шиферины подсказывали ему ориентиры подчердачного пространства. Глаза привыкали видеть в темноте.

Внизу стукнула дверь. Было слышно, как заведующий РОНО поздоровался с техничкой Валеи и спросил, есть ли кто в школе из начальства. Федор Петрович напрягся, обратившись в слух. Очень мешали учащенно бившееся сердце и чириканье бестолковых воробьев где-то на коньке школы.

– Ды, я и не видала. Марь Степанна точно здесь, а директор, кажись, куда-то залишился. Не видала – не мое

дело. Спросите лучше у Марь Степанны. Она там, в учительской сидит. Она вам про все и скажа.

«Молодец, Валентина. Видела, как приходил Струков. Наверняка догадалась, с чем приходил, но не выдала. Молодец баба», – с уважением подумал Бубенцов о своей работнице. Но тут же спохватился, страх залез в его внушительный живот и неприятно ворочался там, отдавая в самый низ. «Как поведет завуч? Эта легко и просто выдаст, да еще приплетет, чего и сроду не было», – трусил Федор Петрович.

Нетиповое щитовое здание барачного типа постройки пятьдесят девятого года давало шанс слышать разговор снизу из чрева здания. Если бы не толстый слой свекло-семян мелкозерки, служивший утеплителем от зимней стужи, то, находясь на чердаке, вполне свободно можно контролировать, как учителя ведут свои уроки. Стараясь аккуратно наступать на перекрытия, Федор Петрович двинулся в сторону учительской. Ориентировался он в своей школе великолепно. Снизу донеслось:

– ...наш директор. С утра был у себя. Собирался в правление вроде. А сейчас и не скажу вам, где он, – натурально врала завуч. Бубенцов живо представил себе ее артистичную улыбку и жесты рук с прямыми ладонями. «Так же и мне втюхивает и не сморгнет, зараза», – нехорошо подумалось директору, но уже через секунду до него дошло, что завуч врет ради него, отводя нешутельную угрозу. «Вот молодец, девка. Не выдает. Ведь видела, как я летел вдоль окон, и не выдает. Вот молодец. Хороший все ж таки у меня коллектив», – растроганно думалось Федору Петровичу, и внутренняя скованность в согласии с мыслями постепенно оставляла его. Место боязни занимала вера в то, что все обойдется и на этот раз, что никакой парторг ничего с ним не сделает, и зав. РОНО, кстати, тоже, пока его поддерживают коллектив и само население.

Дышалось на чердаке сложновато. От горячей кровли, кусков провисшего рубероида, голубино помета, пыли

и высохших трупиков голубят несло удушливым вредно-вонием. Спиртное добавило организму градусов, и Федор Петрович истекал потом, который обильно струился по вискам, по рукам, по ногам и вдоль позвоночника. Однако выбора не было, оставалось лишь терпеть, мысленно поругивая словоохотливость завуча и явно симпатизировавшего ей Суворина. Стоять на одном месте становилось все труднее. Болели радикулитная спина и захондрозенная шея. Федор Петрович осторожно двинулся посередине чердака вдоль школы. Он настиг говоривших внизу, смирил дыхание, прислушался и стал разбирать:

– ...пару досок привез новых. Но какие-то они паршивые пошли. Раньше фанера была, а теперь каким-то линолеумом покрывают, что ли. Проведешь тряпкой, начинает отсвечивать, а мел скользит и не пишет. Ерунда какая-то, – жаловалась невидимая завуч.

«Со стороны оно болтать легко, но попробовала бы сама за ними съездить, на базе поторчать, поунижаться под каждой дверью, где шоколадку дашь, где трешку сунешь, а они и не глядят, – совершенно справедливо осуждал не в меру деловую подчиненную Федор Петрович.

– Нам бы стулья, конечно, поменять. У первачков еще ничего – свежие, а вот в пятом классе беда просто: и великоваты, и разболтанные уже все. Они на них качаются и даже падают. Хорошо еще головы не поразбивали... В учительской шторочки мы поменяли, новый стол у нас теперь, а вот диван продавленный от царя Гороха еще стоит. Пару бы кресел вместо него и стульев десятка два. Педсовет проводим – стулья тащим из классов. Линолеум у входа тоже уже никакой, сами видели. Помогли бы нам с этим, – продолжала кокетливо жаловаться завуч.

– Я-то и помог бы, дорогая моя Маша, а директор-то у вас для какой модели? Сколько уже работает? За это время в год по классу обновлял бы и всего бы давно хва-

тало. А там, глядишь, и колхоз помогал бы. А то он все с парторгом что-то делит. Ведь каждый божий день мне звонит; то Бубенцов, значит, пьяный, то драный... Что ты, вот думаешь, я прилетел. А? Делать мне больше нечего, как ловить его и контролировать? – заведующий образованием помолчал и перешел на мягкие нотки: – Вот, думаю, теперь уж, если что, и тебе школу вполне доверить можно. Так ведь? И стаж уже есть, и людей хорошо знаешь, и все, как говорится, при всем.

Говорившие двинулись по коридору, их фразы стали неразборчивы. Федору Петровичу требовалось находиться над их головами, иначе никак не узнать подробностей намечаемого заговора, не выработать потом и линию своих противодействий, и превентивных ударов по недругам.

«Эх, люди, люди! Слабые мы существа. В глаза любим нахваливать, а за спиной... Лишь бы наверх подняться. Всем подавай руководить, и тем, кто может, и кто не годен», – огорченный Бубенцов догонял ушедшие по коридору голоса.

– ...трудовое обучение, – вновь стала слышна речь Суворина. – Мастерскую, давай, открой. Небось, и тут все по-старому – один молоток и полрубанка на всю школу, – язвил зав. РОНО. Скрипнула дверь кабинета производственного обучения.

– Ну, что я говорил? Не мастерская, а сарай какой-то. Даже стружку не убрали. Тряпки на батареях с зимы небось? Пожарники приедут, штраф выпишут и не просите тогда, защищать не буду. Ну, неужели нельзя трудовика заставить порядок навести? Чем уж он у вас таким важным занят? С удочкой по всем прудам. Опух уже от безделья. Эх, Федор Петрович, Федор Петрович, – театрально обращался к отсутствующему директору заведующий. – Уж это-то устранить – пара пустяков.

Бубенцов сглотнул комок справедливой критики в свой адрес. Его забирала досада на учителя труда, завхоза и себя

самого. «Совсем забыл про мастерскую, упустил из виду. Надо подтянуть, инвентарь обновить, порядочек навести, полы покрасить, защитные сетки у тисков поставить, а то, действительно, доиграемся», – спешил исправиться директор.

Ход его самокритичных мыслей прервала услышанная им его же фамилия «Бубенцов». Он даже присел на узкой перекладинке, чтобы быть ближе к голосам. Меняя позу на более удобную, Федор Петрович двинулся корпусом вперед, но зацепился за что-то брючиной, а когда неожиданно резко освободился, то утратил равновесие и всем центнером своего веса рухнул коленями вперед на слабенкое, с годами подгнившее перекрытие потолка.

Фразу зав. РОНО: «Вот его бы сейчас сюда», – проглотили треск, брань, пыль и голубиный помет вперемешку с мелкозеркой. Пред изумленными очами Суворина, как бы по первому его зову, в грязной рубахе с ободранными локтями явился директор Макарьевской школы Федор Петрович Бубенцов.

* * *

В речи зав. РОНО на августовском совещании педагогов прозвучало: «Что и говорить, не хватает у нас еще заботы о подрастающем поколении и о советском учителе. Нам бы побольше современных, красивых и крепких типовых школ. Уверен, товарищи, тогда некоторых промахов и провалов в нашей работе удалось бы избежать...»

В почетном президиуме и большом зале солидно и понимающе закивали головами. Особенно энергично кивала новая директриса Макарьевской восьмилетней школы.



ЗУБНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

Нет-нет, что бы там ни говорили, а врачи – люди особенные, и профессия у них насквозь благородная, вне всякого сомнения. Это и каждый признает, кому приходилось иметь с ними дело. А кому, собственно, не приходилось? Каждый хотя бы однажды, а непременно обращался за помощью к зубному доктору.

А зубные доктора – люди особенные, безо всякого сомнения. Скольких из них я не знал – все не такие, как обыкновенные обыватели. С зубами у нас в стране дела, известно, паршивые. Посмотришь, в зале на концерте юмористов все сплошь смеются щербатыми ртами, а некоторые, помня об этом, даже стремятся прикрыть рукой зубные прорехи. В газетах волнуются: у нас рак увеличивается, от сердца

многовато мрут и СПИД там какой-то и прочая дрянь, а посмотрите, в поликлиниках к кому больше всех с самого утра? Где люди за щеки держатся и носятся взад-вперед, как заведенные? Известно где – у кабинета стоматолога. Здесь маются бедняги в сильной вере в особенность врача справиться с его конкретной болью.

И ведь если внимательно присмотреться, то получают-таки пациенты нужную помощь и облегчение. Посмотришь, а на следующий день уже другие бедолаги страдают с глазами красными после длинной, бессонной ночи, а тех, что были тут вчера, уже и нет. Уже им и хорошо. Зубы – хоть и маленькая деталь в организме человека, но штука особо противная. Чуть что – уже дупло, щербинка, а там, глядишь, и хоть на стену лезь. Еще положение усугубляется тем, что у нас не принято сразу бежать к доктору. День-другой, конечно, пострадаем – может, оно само пройдет, а потом уж подопрет так, что свет белый не мил – тут уж, ясное дело, мчимся к единственному спасителю-эскулапу.

Вот и я тоже после двух суток непрерывной маяты с ранья самого, когда еще поликлиника не открылась, а уже стоял у стеклянной двери, подпирая щеку платочком. Боль прыгала в моей нижней челюсти, стреляя аж куда-то в горло. Зуб с виду был еще вполне хорошим, и дырка в нем образовалась совсем незначительная. Но вот откуда столько болезненности от нее? Откуда вообще она смогла взяться? Зубы чищу регулярно. Особенно когда на родительское собрание или еще куда на люди идти надо. Холодное вместе с горячим стараюсь не есть, а все равно дерет – терпенья нет никакого. Уж чем-чем только не спасался: и водкой – это перво-наперво, и одеколоном, и пепел сигаретный в дупло напихивал, говорили, поможет, и другую всякую дребедень глотал – никакого толку. Только зря челюсть, небо и язык сжег, а зуб как болел, так и продолжал болеть, проклятый.

Из-за него и с женой поругался. Она мне еще в первый день советовала к врачу, а я, понятное дело, наорал на нее в сильном раздражении: «Охота, думаешь, переться туда? Опять эти талончики, очередь – стой там под дверью из-за чертова зуба... Тебе самой бы так – я поглядел бы тогда. Завтра Леня на приеме. Пойду к нему. Авось, других там никого не знаю».

Довольно быстро – в начале девятого появилась молодая медичка, посмотрела осуждающе на всех ожидавших, задержала взгляд на мне, сочувственно смягчилась, открыла поликлинику и запустила всех внутрь.

Трое подошли к окошечку взять талоны к терапевту, а остальные встали туда же, куда и я. И большинство из нас маялись со своими больными зубами. Я оказался первым, как и пришел – все по справедливости. Немного утешала мысль: «Это хорошо – пораньше, оно лучше, пока Алексей Иванович еще не уморится. Может, на свежую голову лучше полечит, а то и выдерет этот зловредный зуб».

Ждать пришлось недолго – всего с полчаса, но зубная боль за это время, как назло, как напоследок, еще сильнее закрутила. Мысль и та стонала: «Ну, все. Конец. Хоть по коридору бегай. И главное – ни водки, ни одеколона, ни даже сигарет – ничего под рукой».

С трудом дождался. Уже и не чаял. Алексей Иванович подошел бодрым шагом, весело оглядел болезных, тормознул взгляд на моей скуле и сочувственно спросил:

– Ну, как? Болит?

– Болит, – честно простонал я, опуская руку от щеки, чтобы поздороваться со своим спасителем.

– Ну это ничего... Посмотрим твой зубец, посмотрим, – с этими замечательными словами доктор исчез за дверью.

Ждать прихода медсестрички пришлось недолго – минут пятнадцать. Без нее начинать лечить доктор почему-то не мог и вынужден был уйти курить на первый этаж к дру-

гим докторам. Очередь за время его отсутствия подросла до одиннадцати человек.

Быстрым шагом прошла медсестричка. Ни на кого специально не глядя, она спросила, пришел ли Алексей Иванович, и юркнула в кабинет. Теперь всем осталось всего лишь дожидаться доктора. Я страдал, но крепился, как мог. Постепенно подступала другая беда – мне жутко припичило в туалет. Но об этом и думать было нельзя. Уйдешь – пропустишь очередь, потом доказывай из-за своего легкомыслия или слабохарактерности, что ты был первым по талону. Народ в очереди у нас, известное дело, обычно становится нервным, нетерпеливым, неуступчивым. Очередь из нашего народа выжимает все полезные и благородные качества. Оно и понятно. Благородство тогда хорошо, когда у тебя ничего не болит и ты никуда не торопишься. Тогда вполне можно какую-нибудь даму вперед пропустить. А когда в глазах темнеет и выть хочется – тут уж, извиняйте, не до интеллигентности, тут уж хоть как-нибудь обойтись, прости, Господи.

Вскоро появился и Алексей Иванович. Он шел с какой-то молоденькой девушкой очень приятной внешности и замечательной фигуры. Девушка кокетливо улыбалась, несмотря на явно припухшую щеку. Непостижимый народ – эти молоденькие женщины – видно, как тяжело ей досталась ночь, а вся наутюженная, вся наведенная-надушенная и одетая, как на свидание или в театр, а не зуб драть. И, главное дело, улыбается не притворно, будто ей просто захотелось в кресле посидеть.

Доктор галантно пропустил пациентку в кабинет. Заостренное болью воображение подло намекало на то, что сейчас она ему интереснее всех остальных вместе взятых больных. Наиболее нетерпеливые нетактично сверкнули глазами, но смолчали и продолжали покорно ожидать. Мне подумалось, что какое-то время зубник будет занят своей

пассией и можно успеть сбежать в туалет. Но потом я вспомнил, что обычно после обезболивающего укола минут на десять врач оставляет больного. Пока один ожидает одеревенения ротовой полости, врач уже занимается другим. Крепясь остатками своего же терпения, я решил остаться, не давая шансов вытолкнуть себя из колеи первоочередников.

Подошла бабка Поля – соседка по прежнему месту жительства. Увидав меня, она вся так и просияла:

– А-а-а! И ты попал, Пашка? Что, зуб болит? Ты какой по счету? – узнав, что я первый, бабка Поля заметно расстроилась, встала рядом и начала плотный допрос:

– Ну че? Как на новом месте обжились? А? Небось там-то вам хорошо, просторно и огород большой. Большой огород-то? А в новой квартире скоко комнатей? А? Небось на каждого хватает. А?

Я не управлялся отвечать, и баба Поля принимала это как признаки согласия, но потом помрачнела и перевела разговор на совсем свое:

– Конечно. Не то, что мы с моим дедом. Горбили, горбили всю жизнь. Ничего хорошего не видали и ничего не заслужили. Всю жисть, как попало. Все кобелю под хвост. Все глотка ненасытная деда маво. А сычас ничего теперь и не надо.

Бабка Поля сузила зрачки, наморщила лоб, вспоминая о чем-то важном, но спохватилась, испугавшись моего выключения из разговора:

– Небось Анька ваша уже большой стала. А? В каком она классе-то у вас ходит? Небось учится хорошо? Небось отличница. А? Нет? Не отличница? – Бабка Поля немного повеселела: – Ничего, небось, устройте после школы. Деньги-т, небось, есть. А? Небось уже припасили на это дело.

Напор бабы Поли в другое время способен был бы позабавить меня, а тут вызвал прилив раздражительного негодования. И без этой досужей трескотни было совсем худо. Но грубить старухе тоже не пристало – она одна в очере-

ди не относилась ко мне как к лишнему препятствию на попадание к врачу, к тому же ничего не оставалось, кроме покорного ожидания. Почувяв мое смирение, баба Поля продолжила свои расспросы:

– Ну, а работаешь иде? Все по-старому? На том же месте? А? Не понизили – не повысили? А мой Иван, слышал, небось, на механический перешел. И говорит мне: «Мама, там далеко лучше и плотють заметно больше».

Я знал, что Ивана – сына бабки Поли – выперли с прежнего теплого места за пьянство и охальную гульбу с девушками. Да и в чью голову придет со склада, где ты сам себе хозяин, кум, брат и сват, перейти добровольно слесарить в завод и при этом еще быть довольным этим. Но я не спорил, стоял, переминаясь с ноги на ногу, кивая словоохотливой бабуле. Терпенью моему явно наступал конец, и я довольно громко, так, чтобы слышали все в очереди, попросил:

– Баб Поля, я отойду на минутку по делу, а ты тут посмотри. У меня у первого талончик.

– Это как же так первый? Ага. Прямо интересно. Это я – первая, – с кушетки поднялась молодая пышнотелая мадам в сиреневой кофте с вышивкой цветами и хозяйственной сумкой на плече.

– Я еще вчера к зубному талончик брала. Я и есть по номеру первая, – уверенно завершила мое разоблачение противная конкурентка, у которой явно ничего не болело.

Я подрастерялся и, не зная, как возразить, полез в карман. На бумажке стояла четверка, но небрежную закорючку даже при легком желании можно было смело принять за единицу. Однако это была четверка, будь она неладна. Кровь рванулась в голову, запульсировала болезненными толчками. Стало жарко и стыдно, будто меня прилюдно обвинили в воровстве. Я промолчал, мысленно костеря свою рассеянность, бабу Полю, нахалку в сиреневой кофте и всех остальных, единодушно решивших наверно, что я коварный обманщик больных сограждан.

Баба Поля, бесцеремонно стараясь заглянуть непременно в глаза, участливо спросила:

– Это как же получилось? Ты талончик когда брал? Нынче? А-а-а. А говоришь первый. Тут нет. Тут лучше брать всегда заранее с вечера на другой день, а с утра тут первым никак не будешь. С утра уже бесполезно. Сам видишь.

До меня дошло, что появилась масса времени для решения второй проблемы. Можно отойти, на время стать свободным. Но туалет в поликлинике – большая проблема. Они имеются, конечно, на каждом этаже, но пользуется ими только медицинский персонал. У каждой медички свой ключ. Когда надо открыла, вошла, вышла и вновь закрыла. Если всем разрешить, то что тогда будет? Это ж тогда замучаешься убирать за каждым, а антисанитария и без того – злейший враг наших медучреждений.

Крепясь и радуясь одновременно, я поплелся вниз, вышел на улицу, прошагал, почти пробежал до рынка, где на радость не только приезжих цел еще общественный нужник, и только там освободился от грозившей катастрофы. От нашей больницы до рынка едва ль не с километр будет, но я готов был идти, бежать и даже плыть бесконечно долго и далеко – только бы поутих проклятый зуб.

На обратном пути у остановки мне встретился одноклассник Сашка-Рыжий. Очень хотелось отвернуться, сделать вид, что не заметил, пройти мимо и не поздороваться. Но разве ж так можно? Тем более что Рыжий уже узрел меня и двинулся навстречу, радушно протягивая руку:

– При-ве-т, Пашок. Ты че это? Зуб, что ль, болит? У, блин, хреново дело, когда зуб болит. Ну, как ты? Все на старом месте? Че-то давно мы не виделись. Всем классом надо как-нибудь собраться, взять по бутылочке, посидеть, поговорить. Как ты думаешь? Надо, надо обязательно, а то скоро и узнавать друг друга не будем.

Я быстро согласился и, пытаясь обозначить хотя бы минимальное внимание к идее Рыжего, неопределенно выдавил:

– Да, конечно, надо бы нам, надо бы, конечно, всем.

– Что? Сильно болит? – Сашка показал грязным пальцем на мою щеку. – У-у. Эти зубы – одна беда. У меня с полгода назад разболелся один. Страсть как разболелся. А уборочная как раз была. И комбайн не бросишь, и терпения нет никакого. Говорю агроному: «Все. Кранты. Я поехал, говорю, зуб дергать». А он мне: «Да ты чё, Сорокин? Только обсохло после дождей. Поле добьешь – тогда и дергай». – Сашка изобразил страшное негодование на своем конопатом лице и продолжал: – Мне б, дураку, бросить, Пашок, а я догадался – заслал штурвального за пузырем, долбанул из горла так с полбутылки. Самогон хороший – вроде затихло мал мала. А к вечеру, Пашок, не поверишь – уже и самогон не берет. Думал, все – смерть моя. Ночь кое-как провертелся, а с утра сюда. Своя машина у меня второй год разобрана. Уговорил Калюню Мерзлого и с ним. Приехал и вот так, не хуже тебя, купил перчатки, шприц, ампулу. Ждал-ждал... Местные все наглые лезут, кто по благу, кто так, без очереди. Ну, кое-как дождался. Захожу, а врач мне: «Давай, говорит, полис». А я его как раз позабыл и не взял. Тва-а-ю мать! Начал уговаривать, чтоб выдернул так, без помощи полиса. Просил-просил. Кое-как, кое-как уломал. Сам знаешь, дюже и скандалить нельзя – врач все-таки. Ну, он-то кое-как, кое-как навроде обезболил. Путем еще не задеревенело, а он посадил на это свое кресло, постучал по зубам. Спрашивает: «Какой зуб болит? Этот?» Взялся тянуть. Ты, Пашок, меня знаешь. Я это, любому в нашем совхозе морду начищу, дорого не возьму, а тут, не поверишь, все в глазах почернело, весь потом покрылся. А он еще два раза срывался. Сорвется, как по зубам своими кусачками долбанет, глаза на лоб лезут. Тва-а-ю мать! Сто потов сошло.

Сашка-Рыжий, как одаренный актер, в лицах изображал страшные муки зубоудаления. По всему было заметно, что этот процесс стал для него событием года. Он так эмоцио-

нально и громко описывал свои ощущения, что на нас уже обращали внимание прохожие. Но мой одноклассник не реагировал на их взгляды и продолжал свою исповедь:

– Уж он, зубной-то, и сам весь в поту. Нашатырь мне сует. Ну, кое-как, кое-как насилу вытащил. Чувствую, мне лучше стало. От радости купил водки – и домой. Прямо по пути с полбутылки отхлебнул – вроде захорошело. После обеда на работу. Все вроде нормально. Потом, вижу, опять потихоньку болеть начало. Думал, наркоз отходит, а он всё сильнее, всё сильнее. Я домой опять. Пригляделся в зеркало, Пашок, а он мне, оказывается, больной зуб оставил, а рядом какой стоял, по невнимательности удалил. Тва-а-ю мать! Мне б, дураку, сразу поглядеть. Что делать? Ну, ночь опять кое-как, кое-как. Что только не делал! Чем только не пробовал! Глаз не сомкнул, думал, подохну. Чуть свет опять к Калюне Мерзлому. Энтот разнылся, развыступался: «Что я тебе, извозчик, что ль, какой нашелся?» Ну, кое-как, кое-как уговорил. Говорю ему: «Ну, тварюга, не повезешь – башку точно оторву. А за зерном больше и не подходи». Приехали. Опять шприц купил, новокаин, перчатки. На хрен они нужны? Он и те еще не износил. Захожу в кабинет с острой болью безо всякой очереди. Слава богу, опять Алексей Иваныч принимает. Опять спрашивает с меня полис. Тва-а-ю мать! А я-то опять его дома забыл. Башка-то от болезни клинит. Что делать? Я опять уговаривать. Он ни в какую. Ну, кое-как, кое-как опять уговорил. И деньги предлагал, и бункер зерна свалить прямо у дома обещал. Что только не плел ему! Кое-как согласился. Выдрал, слава богу. Не поверишь, Пашок, совсем здоровый зуб-то. Я еще подумал сначала: «Опять не тот». С виду хороший, а внизу только такой гнойный мешочек висит. Как вспомню – страсть. Ну, ладно, Пашок, ты иди, а то я тебя задержал. Мне-то делать нечего, все равно автобуса ждать.

Оказалось, я не так и мало отсутствовал. У кабинета врача появилось еще человек шесть, а некоторых из прежних уже не было. Теперь уже я обрадовался бабе Поле, которая стояла на прежнем месте у двери.

– Ну, что? – поинтересовался я. – Очередь движется? Сколько без меня прошло? – выспрашивал я, оглядывая очередников и тем напоминая всем, что теперь-то мой черед.

– Четверо прошло. Он как-то, вроде, побыстрее начал пропускать, – с живой готовностью информировала меня баба Поля.

Я немного успокоился и настраивал себя на предстоящий заход к доктору. Зуб болел по-прежнему, и было даже удивительно, что я способен еще терпеть.

К двери, тяжело сопя, медленным шаркающим шагом, опираясь на костыль, придвинулся грузный мужчина в летах. На левой стороне его ветхого пиджака поблескивали тремя рядами планки юбилейных медалей, а на правой лепился как-то боком знак участника войны. Тучный ветеран переложил бадик из правой руки в левую, достал скомканный платочек, неспешно вытер им мясистое лицо с бородавкой над бровью, достал красненькую книжечку и молча развернул ее перед моим носом на манер западных полицейских. Сопя, с придыханием он, не глядя на меня, пояснил:

– Ветеранам войны полагается вне очереди, согласно всех законов.

Я понуро кивнул и отодвинулся от двери. Никто ветерану не возражал, и вскорости он прошел в кабинет. Долго он там не задержался. По всему было видно, что зуб его держался уже некрепко. «Неделю-другую подождет бы, и сам, глядишь, отвалился. Охота им по врачам шастать», – без злобы размышлял я.

Вслед за ветераном из кабинета выглянула медсестра, а потом вышел и сам доктор. Увидав меня, Алексей Иванович деловито поинтересовался:

– Ну, что? Все стоишь? – и, не дожидаясь ответа, снимая на ходу перчатки, сердобольный доктор рванул куда-то вниз по лестнице. После недолгой паузы в очереди забрюзжали:

– Ну вот. Опять курить ушел. Что ж они никак не накурются?

– Два часа тут торчим, а очередь хоть бы с места.

– А им надо? День прошел, и слава богу. А ты тут как хочешь. Никакого порядка.

Я заметил, как двое школьников, которым, видимо, было не срочно, пошептавшись, ушли. Остальным было срочно, и они остались.

Довольно быстро, минут через пятнадцать, доктор вернулся и на ходу обронил:

– Кто следующий? Проходите.

Я шагнул к двери и уже собирался взяться за ручку, как меня решительно опередила откуда-то возникшая цыганка с печальной девочкой на руках. Она без церемоний отжала меня от двери, заявив:

– Пусти. Я с дитем. С дитем положено без очереди. Ты – мужик и чуть-чуть обождешь.

Я оторопел и не сообразил даже, как с ней бороться. А когда решил возразить, было явно поздно. Дверь закрылась уже с противоположной стороны. Среди ожидавших нашлись сочувствующие:

– Нахальство – второе счастье.

– Прет напролом – хочь по башке ей бей. С дитем она, и все тебе. Нигде не работают, а летят вперед всех. Ни совести, ни стыда никакого.

Отозвалась на мой облом и баба Поля:

– Вот, Пашк. Настоишься тут до потери пульса. У двери, а не войдешь. Вот змея какая, шмыганула поперек всех. А? Небось, талончика совсем не брала. Какие люди пошли бессовестные. Нешто мы раньше такие были? Бывало, мухи не обидишь и строгость была невозможно какая. А щас что? Одна уголовья кругом. Все как собаки стали. У

меня вон соседка, Нюрка-Марколиха. Ты, Пашк, ее должен знать. Жили с ней, почитай, двадцать годов. Да какое там? Даже боле тридцати годов и никогда ничего. Приходит тут ко мне и с порога заводит: «Полька, твой унук яблоки с маво огорода спер».

– Это про Ванькина пацана она мне с претензиями, – пояснила мне баба Поля. – А я говорю ей: «Ну и что? Много он взял твоих яблок? Небось червивые. Все равно мостом лежат, гниют. Кому они нужны? Свиньям одним».

Яркий монолог бабы Поли прервал отчаянный визг из-за двери, а затем и крик цыганки:

– Что орешь? Тебе зубной пользу делает, а ты грызешь его. Больше не поведу! Сиди и ори дома одна! Глянь, как куснула больно, аж всю варежку прокусила.

Из-за двери доносились жалобные всхлипы девочки, скороговорная речь цыганки и глуховатые выговоры врача:

– Что она у вас такая дикая... Я же только коснулся... Так нельзя. И палец прокусила, и сама пораниться могла...

За дверью начались долгие уговоры девочки потерпеть и больше не кусаться. Девочка категорично не соглашалась, но угрозы матери на своем языке подействовали и заставили ребенка сдаться.

Через несколько секунд вновь раздался пронзительный визг и вслед ему крик потерявшего контроль доктора:

– Да что ты творишь?! Озверели, что ли? Вышвыривайтесь отсюда... Ну так же нельзя. Все пальцы покусала... смотри. Вон, уже до крови.

За дверью слышались неясные шорохи, потом шум, потом звук, сильно похожий на подзатыльник. Потом цыганка вытащила за руку бедную девочку, молча растиравшую по смуглому лицу слезы. Мать тащила ее к лестнице, на ходу что-то быстро выговаривая по-цыгански.

Я нерешительно переступил порог кабинета. Медсестра, склонившись, обрабатывала Алексею Ивановичу прокусан-

ные пальцы. Медичка прижимала к своему животику руку доктора. Тот не возражал, морщился и обиженно чертыхался:

– Кошмар какой-то... Этот ребенок хотя бы когда-нибудь в жизни зубы чистил? Кошмар. Хоть против столбняка колись. Я теперь и щипцы-то держать не смогу. Вот, черт, на самом сгибе. Пойду, доложу главному – травма на производстве. За вредность тут должны молоко выдавать и на пенсию по «горячей сетке» отправлять. Дурдом...

Наконец доктор остановил внимание на мне:

– Паш. Ну, ты сам видишь. Я теперь при всем уважении не работник. Теперь до завтра или уж кто по «скорой», с острой болью. Видишь, какой дурдом с этой цыганкой.

Я и сам все понимал и чувствовал неловкость перед доктором, пострадавшим за простых людей. Меня забрала жуткая досада, что человек так старался, а мы, больные, сами же отплатили ему такой черной неблагодарностью.

Выйдя за дверь, я не знал, горевать мне за себя или радоваться. Сострадательное переживание за искусанного лекаря загнало куда-то внутрь мою боль. Она уже не была резкой и пульсирующей. Терпеть было можно. Страшила только предстоящая ночь.

Дома я прополоскал рот соленой водой с йодом, принял внутрь приличный стопарик водки, улегся на диван и незаметно отключился под работающий телевизор. Пришедшая с работы жена подняла меня совершенно здоровым и оттого счастливым. Я сказал ей, что зуб мне хорошо полечили и теперь он не болит. И в этом не было ни капли вранья. Эта правдивая история с хорошим концом лишний раз подтверждала, что врачи – люди особенные, и могут они такое, что не можем мы – простые недипломированные обыватели.





ПОЛЕТ

К главе Октябрьского поселения на прием явился пенсионер – бывший учитель биологии Пожарников Семен Петрович. Семен Петрович для встречи с местной властью подгадал приемный день, чтобы не отвлекать чиновника от важных забот в иное, неудобное для него время. Он так и объяснил свой визит к главе, а когда тот поинтересовался сутью обращения, Семен Петрович сказал просто:

– На меня сошел дар божий.

Бесхитростный ответ было заставил молодого главу территории повалиться под стол от необходимости слушать бредовый монолог посетителя. Не от соседей зная причуды Пожарникова, глава решил хотя бы сократить продолжительность неизбежного надругательства над и без того расшатанной психикой, и он по ходу сформулировал:

– Я Вас слушаю, но имейте в виду, что через полчаса мне надо в Эрск на встречу с большим начальством.

На самом деле в райцентр он мог вполне поспеть даже через полтора часа. Правда, совещание предстояло важное и опаздывать на него не было никакого резона.

– Уважаемый Олег Иванович! Я знаю Вас как одного из самых смысленных моих бывших учеников и поэтому абсолютно уверен, что Вы быстренько поймете, о чем пойдет речь. И полчаса Вашего времени совсем не понадобятся. Дело в том, что в бытность моего обучения в военном училище у нас однажды объявили о проведении соревнований по бегу. Меня как крепкого сельского юношу выставили бежать от всего первого курса. Я тогда совсем не имел представления о технике и тактике бега. Да, кстати, Вы знаете такого чемпиона Европы и призера Олимпийских игр Дубенкова?

– Знаю, – быстро и честно соврал глава, глядя прямо в глаза посетителю.

Семен Петрович не поверил главе и продолжил:

– Так вот, учился в училище я только год. Потом меня отчислили за то, что заступился за честь и достоинство моего одноклассника. Его потом в училище все-таки оставили, а меня отчислили. Ну, это ладно – я на него за это до сих пор не обижаюсь.

В этот раз не поверил глава. Разговор затягивался, и он обозначил легкое беспокойство:

– Семен Петрович, Вы, пожалуйста, поближе к теме.

– Извиняюсь. Извиняюсь. Постараюсь максимально коротко. Так вот. Стартовали мы на дистанцию двести метров. Должен сказать, что такая дистанция очень неудобна для бегунов. Есть марафонские дистанции. Это более десяти километров. Здесь особенно выносливость нужна. Есть стайерские дистанции от четырехсот метров до пяти километров. Это я говорю только для мужчин. Для женщин

дистанции другие. А есть еще спринтеры. Это и быстро, и для зрителей не очень интересно.

– Знаю-знаю, – не соврал теперь глава. Слово «спринтер» всякий раз звучало как упрек от его собственной супруги после их очередной интимной близости.

– А, уже знаете? Так вот. Где-то на середине нашего забега меня обошел сначала один, потом другой из курсантов со старших курсов. Потом вижу, я уже в середине группы. И вот тут со мной произошло просто необъяснимое. Иначе, как чудо – я и не объясню Вам. Слышу, как кто-то сказал мне на ухо одно только слово «полет», и я побежал, нет, не побежал, а именно полетел. Мозг дал команду моим ногам практически резко ускориться, почти не касаясь дорожки, а легкие работали на полный объем в унисон. Перед финишем я оставил позади метров на пятнадцать ближайшего из своих преследователей. Честно сказать, тогда и сам не понял, что произошло со мной, но ощущение восторга и легкости отложилось в памяти.

– Семен Петрович. Какая суть Вашего обращения? Не пойму, в чем моя тут роль, – раздражительно вмешался глава.

– Так роль самая логичная и простая. Вы ближе к власти. Вы, я знаю, это сможете. Вот хотя бы сегодня обратитесь по инстанции к своему начальству, и мы с Вами можем сделать большое, важное дело. Даже, я бы сказал, государственной важности. Но позволю себе одно совсем краткое отступление.

Глава заерзал в скрипучем кресле, поежился, но смирил себя и напряг внимание, подавшись вперед.

– Так вот. Уже в более зрелом возрасте со мной произошло нечто подобное на соревнованиях, можно сказать, областного ранга. Бежали тогда четыреста метров. Опять я как-то включился в этот же стиль полета и обошел всех, просто как стоячих. Теперь уже я лучше осознал саму технику движения. Сейчас я в силу своего возраста не смогу все повторить, но

объяснить вполне в состоянии. Я тут как-то подумал. Не спалось мне тогда. Подумал, вот умру, и дар мой...

– Нет-нет. Семен Петрович, вы не умирайте. Не надо. Не надо. Зачем это преждевременно? Вам сколько сейчас? Семьдесят три? Ну, вот. Вы еще крепкий и Вам не надо туда спешить, – скороговоркой перебил глава ветерана и выразительно посмотрел на часы на руке.

– Все-все. Перехожу к самой сути и смыслу своего разговора. Я, кстати, с этим вопросом уже обращался не раз письменно в областной спорткомитет и федерацию бега и даже в Олимпийский комитет России, но там оказались глухи к государственным интересам. Какие-нибудь американцы или англичане давно бы заинтересовались моим предложением. Давно бы внедрили его в практику. Но я патриот своей страны и мне не надо, чтобы наши соперники брали золото на всех мировых соревнованиях. В последнее время мировая обстановка и так...

– Семен Петрович. Полчаса уже прошло. Мне надо ехать. Давайте мы с Вами в другой раз обсудим Ваше ценное предложение, – встал из-за стола глава. – Мне, правда, надо уже ехать. Не хочу получить нагоняй.

– Все-все. Больше не задержу. Я все понимаю, еще только одну минуту. Я почему коснулся международной обстановки-то? Сейчас Вы поймете.

Далее Семен Петрович больше пятнадцати минут говорил о том, что Олег Иванович и без него хорошо знал из газет и телевидения. Ветеран только оригинально вкраплял в международную обстановку еще и состояние собственного подворья с падежом кроликов и хором, задушившим намеренно восемь уже больших бройлерных цыплят.

– Семен Петрович. Я уже почти опоздал, и мне теперь надо срочно лететь в район, – предпринял более решительную попытку освободиться от посетителя глава.

– Все-все. Вот именно лететь. Да. Это и есть ключевое слово. Вот, видишь, ты и сам уже интуитивно почувство-

вал саму суть. Именно полет. Полет, а не бег. Бег давно хорошо изучен. Из него уже все выжали. Все разобрали до молекул. Человечество уже подошло к пику своих возможностей. Улучшить рекорды без химии уже нельзя. Это я Вам именно как химик могу свидетельствовать.

– Семен Петрович. Все, я больше не могу. Мне надо ехать.

Для убедительности Олег Иванович набрал на мобильном телефоне номер своего водителя, но тот, зная точное время выезда, даже не ответил. Как назло, никто из подчиненных не заходил с бумагами или просьбами. Некому было выручить главу от назойливого и словоохотливого посетителя.

Видя беспомощность начальника, Семен Петрович посочувствовал:

– Вот она, наша дисциплина. Звонишь шоферу, а он где-то спит в кустах. И во всей стране такой же бардак. Кто спит, кто дремлет. Один президент за всех пашет. Мне его, честное слово, порой даже откровенно жалко.

Следующие пятнадцать минут Семен Петрович посвятил краткому описанию состояния дел в экономике и финансах нашей необъятной страны, ловко перемежая сообщениями о стоимости гнилой селедки в местном магазине и жене-растратчице, для поддержки иностранных производителей постоянно покупающей себе бананы и апельсины.

Наконец-то подъехала служебная машина. Водитель Алексей вошел, кивнул посетителю и равнодушно доложил:

– Иваныч. Заправлюсь и поеду. Там туча заходит огромная, черная. Ливень по-точному будет.

– Заправимся в Эрске. Поехали лучше сразу, – настаивал Олег Иванович.

– Да ладно. Куда лететь-то? До совещания вон почти сорок минут. Успеете даже причесаться.

Шофер вышел, а Семен Петрович, вдохновленный наличием некоего времени, продолжил. Олег Иванович обреченно вздохнул и рухнул в кресло. Теперь и так терпеть

оставалось немного. За окном пошел плотный дождь. Семен Петрович прокомментировал:

– Дождь – это хорошо. Теперь шансы на урожай поднимутся. А ведь от этого и доходы сельхозтоваропроизводителей. Ну, я позволю себе продолжить не отвлекаясь. Ты только прости меня, старого дурака, за мои нескладные речи. Хотел в двадцать минут уложиться, а тут что-то соскучился по простому общению. Захотелось и тебя, как умного человека, послушать. Узнать и твое мнение как представителя власти о злободневных людских проблемах.

– Вы только покороче, Семен Петрович. Скажите самую суть и все. Мне надо ехать и дождь вон какой вливает с грозой притом. Я как предчувствовал. Теперь лететь до самого Эрска. И Лешка куда-то пропал.

Речь Семена Петровича, возвратившегося к теме полета в беге и срочной необходимости ему лично связаться с чемпионом Дубенковым, чтобы передать ему дар божий, бесцеремонно прервал мокрый шофер:

– Ждал заправщицу. Поехали, Олег Иванович! Дождище вообще, как из ведра. Уже ручьи по всей дороге.

Глава посмотрел на часы, взял со стола папку, пожал руку Семену Петровичу и быстро выскочил к машине. До совещания оставалось девятнадцать минут. Путь до Эрска с бешено гребущими дворниками напоминал полет. На спуске у моста Алексей прибавил скорость, влетел в лужу. В мгновение ока машина утратила управление. Дорожный отбойник пришелся на середину радиатора. Машину завертело. Водитель сломал шею и умер по пути в больницу, а не пристегнутый молодой глава поселения вылетел наружу и погиб на месте от удара об асфальт. Инспектора дорожного движения назвали причиной трагедии акваполет.





ПОХМЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Пробуждение как отход от боксерской гроги, как пробивание земной толщи исключительно головой. Сознание – блеклое солнце среди прогалов безостановочно несущихся туч. После определения места нахождения собственного тела – рядом с диваном, секундное удивление: «Почему?» Прилив обиды на кого-то: «Почему так по-собачьи?» Окончательное осознание испаряет обиду: «Налакался как последняя скотина. Вчера...»

Движение затекшей шеей заставляет возвращаться гостиную, но слегка утешает – кто-то подложил подушку и укрыл пледом, хоть и не заслужил. После определения пространства опыт диктует выяснить время. Время всегда вторично. Красное электронное око беспристрастно выморгивает пять тридцать пять. Это плохо и хорошо. Пло-

хо оттого, что реально плохо, что шансов выздороветь до начала трудового дня никаких. Хорошо, что есть время вспомнить и оценить масштабы своего бессознательного падения и размеры вины перед окружающими и собственными принципами.

Усилим обессиленной воли пытаюсь тормозить полет тошнотворной луны сквозь мутные тучи. О! И на это, оказывается, тоже нет сил.

Вчерашний день не задался, издергал, иссушил, иступил. Много беготни, нервных разговоров, глупых вопросов. Майская жара – изощренная месть за наивные соблазны грядущего лета. Пропущен обед. Подергал за ниточку – «ловись, рыбка большая, ловись, маленькая» – окрасил кипяток подкрашенной чайной пылью. На автомате вылил сладкую бурду с сухарями вовнутрь. Начальству нужен до зарезу протокол и квартальный отчет, надо отыскать и доставить на комиссию по делам несовершеннолетних пьюще-гуляющую Юльку Сапегину, взять справку о составе семьи. Надо заменить порядком затертые погоны и постричься. Надо, надо, надо. Надо всем, но не ему самому.

Потом звонок от медленно умирающего друга, одиннадцатый год живущего без обеих почек. Глухой, треснутый голос в тонах явной обреченности и тоскливой безысходности, совсем без выбора, без возврата в мало-мальски нормальную жизнь. Господи, как жаль его, студенческого друга, веселого, беспечного и всемогущего. Как уныло осознавать, что человек годами даже пописать не может, что его сердце еще работает благодаря вживленному под кожу стимулятору. Бедный мой дружбан – такая мука говорить с тобой о твоих недугах, о давлении, отсутствии в твоём организме магния, калия, кальция и еще чего-то, что удаляет этот чертов гемодиализ, без которого и вовсе мучительная смерть.

Первое законченное воспоминание о дне вчерашнем добавило страданий. А что было потом? Отчего такое похме-

лье? Потом зашел Петрович уже ближе к концу ненормированного рабочего времени. Появление этого пенсионера МВД само по себе уже давно не приносит никому ничего положительного. Но Петрович почти четыре года состоял непосредственным начальником, и нет никакой возможности освободиться от привычки услужить бывшему патрону – любителю высосать всю моральную и физическую энергию. Петрович – большой спец из всего извлекать личную выгоду. Ему все должны по причине как бы удовольствия быть его современником. Попутно он охотник надраться на чужбинку, чтобы тут же безо всякого ограничения трепаться о своих нечеловеческих способностях, выдающихся свершениях и неординарных поступках.

Вспомнилось – он уже уходил, когда распахнулась дверь и вошел довольный жизнью Максимыч.

– А-а-а. Вот он где! А я его, разлюбезного, неделю ищу. Когда мне шуруповерт вернешь? – без всякого там «здрасьте» насаживал Петровича Максимыч. Однако мой старый приятель явно больше желал «простого человеческого общения», но никак не сверлить и не ввинчивать.

Пришлось выждать, спросить, чем обязан неожиданному визиту. Убедился, что неожиданный визит ни к чему не обязывает – приятель зашел «поговорить за жизнь» – редкий в наши дни случай. Максимыч выслушал заверения о непременном завтрашнем возврате шуруповерта даже с победитовым сверлом в придачу и продолжил извергать бесплатный энтузиазм:

– Эх, мужики! Скучно живем. Вроде все есть, а радости никакой! Не то, что раньше. Добудешь какой-нибудь там селедки или еще лучше колбасы или зефира какого-нибудь – и счастлив. Я лично за пластинкой Высоцкого на морозе три часа в очереди стоял – все уши пообморозил. Купил-радовался, а потом в маршрутке ее и позабыл, так до сих пор переживаю. Вот жизнь была! – закруглил Максимыч.

Петрович подхватил и подначил. Он без этого не может:

– А ты, как погляжу, пришел нам о своем героическом прошлом живописать. Со старческой ностальгией. По сути-то хорошего было мало – просто умели ценить это самое малое. Кстати, а не раздавить ли нам бутылочку на троих? Как-никак, еще не хороним друг друга, а уже встретились.

– Нет-нет, – картинно протестовал Максимыч. – Мне сегодня обещали плитку подвезти, тротуарную. Хочу дорожку до теплицы положить.

– Можно подумать, он сам ее выгружать будет, – из легкой зависти захотелось мне приземлить приятеля-молодца.

– Сам-то не сам, но под моим контролем. Жена не туда покажет сгрузить – потом таскай ее на собственном пупке, – добродушно пояснял Максимыч.

– Ну, с этим кренделем все ясно, а ты-то как? – насмешливо глянул в мои глаза Петрович. – Небось, картошку сажать собрался?

– Да нет. Картошка давно взошла. Прополол уже, – равнодушно парировал я. – Неожиданно как-то. Хотя...

Это самое «хотя» повернулось решающим аргументом. Петрович вмиг активизировался:

– Так-так. Так тому и быть, давайте к магазину и по-быстрому потом на зяленинький лужок.

– Да я, в принципе, и не против на зяленинький, – за чем-то смалодушничал Максимыч.

Лично я как раз в принципе всегда против, потому как не люблю спиртное принципиально. Не любил и не люблю ни вкуса, ни запаха, ни тем более последствий. Вон сколько смертей, разводов и болезней только на его одном полицейском участке. А в масштабах страны – так и совсем беда. Но мой протест глубоко внутренний, скрытый, а снаружи отчего-то почти всегда безропотно соглашаюсь.

– Только вот что. С одной связываться нечего – куплю парочку, а то хуже нет, чем потом выпимши в магазине ри-

соваться – народ любит пьяных ментов придурками выставлять, – резонно застолбил Петрович. Мы равнодушно подчинились. Зря, конечно, подчинились. Отчего это не сказать «нет», когда заранее знаешь, чем закончится спонтанная пирушка, наскоро, без адекватной декалитрам закуски. Почему только мы, русские мужики, стесняемся обидеть отказом даже тогда, когда нам не подходит чуждое предложение? У меня, например, это повелось еще со школы. Вспомнилось, что стеснялся хорошо учиться и отвечать на уроках, если в классе большинство ни в зуб ногой. Как-то сама собой образовалась привычка уступать всему нехорошему, вредному и напористому.

Выпивали деловито, без пауз, с изрядно патриотичными тостами. Хвалили друг друга, своих и не совсем даже жен. Не спорили долго, когда Петрович стал утверждать, будто он в паре с другом раскидал как-то девятерых крепких хулиганов, хотя мы с Максимычем доподлинно знали, как он позорно покинул тогда поле боя. Много курили... Темнело... Лаяла собака. Кажется, блевал около калитки... Как дошел? Кто довел? Почему с двух пузырей так обессилел?

Храп из-за стены. Ну, это понятно – не ляжет же на полу рядом верная спутница. Нет, не она. Сопение жены слышно из спальни. А кто тогда через стенку? Стоп. О, господи! Сын-студент приехал... Некстати. Почему некстати? Это он нахрюкался некстати, а сын видел теперь во всей красе отца-молодца. Стыдно. Он же пример порядочности, правильного поведения и ревнитель традиционных семейных ценностей. Забеспокоился – наверняка это не единственное постыдное деяние. Что же еще? Как нестерпимо болят натруженный ум и пустой желудок. Надо подняться, попить холодной воды, умыться, почистить... Отчего так забиты ноги? Опасливо осмотрелся в зеркале – лицо без ссадин, руки тоже – не падал. Слава богу. Но почему так стонут мышцы ног и рук? Ладони зелены от травы.

Напрасно пил воду – мутит еще больше и желудок заныл резче. А это его форменные брюки? Мятые и с зеленью на коленках – все-таки падал. Ну, хотя бы не рваные. А это форменная рубашка? Насквозь вонючая с забитой грязью майорской звездой. Ладно, все равно собирался заменить погоны. Что же так мутит? Господи, что бы выпить от головы? От этой дурной, бестолковой и безвольной головы. От этой своей ментовской башки. Как же дошел? Во сколько домой явился? Где мобильни-ик? Нет, надо заканчивать с этим, пока не попал в нехорошую историю. Надо совсем. Раз и навсегда и ни грамма больше. Что в ней, в водке, хорошего? Где же мобильник? Теперь и перед женой стыдно. Наверняка волновалась. Не стала даже поднимать на диван – обиделась, но подложила подушку, накрыла дурака – надежда на скорое примирение.

Вот он, мой мобильник. Целехонький. Пропущенные от Петровича и от Максимыча вызовы, от супруги тоже, а вот и от сына. Последний в одиннадцать ноль девять. Все разыскивали, а я даже не слышал. Почему-то на беззвучном режиме. Зачем звонили собутыльники? Ну их на фиг – всегда не вовремя. Взбаламутили, не хотел ведь совсем. Больше не поддамся никогда-а... С сыном, оказывается, разговаривал целых двадцать минут. О чем это? Вспомнилось: выговаривал ему за его тройки на экзаменах, что не устраивается на подработки, что... орал, что не достоин отца своего... что-то еще... как стыдно-то. Не пастух, не сапожник и даже не слесарь, а блюститель порядка – старший офицер, но вот надрался, как последняя тупая свинья. Надо попить заварки чайной – может мутить перестанет. Жаль, нет и никогда не было в доме квашеной капусты.

Сборы на службу, глажка брюк через мокрую тряпочку и рубашки, душ и другие утренние процедуры – все на пределе сил, на автомате с икотой, с приступами тошноты и осознанного раскаяния.

Пешком на службу. По дороге звонок от Максимыча:

– Привет. Живой?

– Да живой вроде... Иду...

– Ну, ты даешь! Мы тебя вчера потеряли. Как испарился. Куда ты стеганул-то в темноте? На звонки не отвечал. Конспиратор еще тот. Грешным делом подумали уже...

– Максимыч, прости. Ничего не помню... Скажи, я хоть ничего нигде не отчубучил?

– Да вроде и нет. И сам не все помню. Ты все наперегонки с Петровичем по лугу гонял и на спор отжимался. Все доказывал, что он – фуфло. Совсем не помнишь? А мы подумали, что протрезвел почти... Да так и было, если бы не самогон.

– Какой еще самогон?

– Какой-какой, откуда я знаю? Бесплатный, на халяву. Ты его сам и приволок, сказал, что изъят в каком-то доме недалеко.

Настроение окончательно рухнуло в минус. Стыд-то какой – пошел бутылки собирать по людям. Теперь разговоров про пьяного участкового на неделю. Хорош, и привирать не надо. Сильно повезет, если начальство не прознает. Максимыч сообщил, что их по домам развезла вызванная из отдела дежурная машина, а его никто так и не нашел, когда он поссорился с Петровичем и канул в ночь идеально, «по-английски».

Новый день участкового инспектора сложился обычным – издергал, иссушил, иступил. Обычная беготня, нервные разговоры, глупейшие вопросы и майская жара. Пропустил обед и до вечера хлебал только «Липецкую минеральную» и чаек без сахара. Начальство раздраженно требовало протокол и квартальный отчет. Выезжал на разбор пьяного семейного скандала, хотя у самого он явно удался. Переживал, что не сменил затертые погоны, не постригся, не подклеил отставшие обои в своем «опорном пункте».

В сплошном миноре не лучшего в жизни дня получался только один плюс – твердое решение не употреблять спиртное никогда – отныне и до веку. Мысль нравственного покаяния и духовного обновления помогала сохранить плавучесть.

К концу дня настроился, заготовил слова для искреннего покаяния перед родными. В пять вечера красиво выстроенные мысли оборвал звонок от дежурного по отделу:

– У шефа третий сын родился. Слыхал? Гони тысячу и на второй этаж – все основные уже в сборе.

Отказаться было нереально. Алкоголь вошел в ослабленный организм с противным удовольствием, расслабил, испарил дневные фобии и отнял оставшуюся силу. Домой поздней ночью его доставила дежурная машина. Сослуживцы заботливо довели до двери и вежливо сдали сонное тело на руки верной и терпеливой супруге.





ВЛАДИКОВ

В нашем малом городке-райцентре друг друга знают буквально все. Да не то что друг друга, а, кажется, могут без особого умонапряжения определить даже, чей это петух орет на всю округу, и чья собака ночи напролет дурниной воет от нечего делать.

Но существуют такие особые люди, коих не то что знают, а без коих и не мыслят саму жизнь городка. Эти люди себе не принадлежат, семье не принадлежат, предрассудков не ведают, бога вспоминают редко и притом показательно жизнелюбивы. Такие особи сугубо общественной направленности дома только ночуют, перекусывают на ходу, на работу будто и не ходят. Они живут непосредственно в городских пространствах, посещают практически все мало-мальски значимые мероприятия, все магазины, аптеки

и парикмахерские и всенепременно рынок, но не с целью постричься или приобрести нечто полезное, ходят на футбол, но возвращаются, не всегда помня, с каким счетом снова продула любимая команда. Эти люди незаменимы и на похоронах, ибо их скорбь и смирение у смертного одра даже малозначимых и малознакомых им покойников – истинный пример для подражания, для запоминания и применения на следующих похоронах.

Один из таких общественных людей Юлий Владиков, дом которого напротив городской бани примечателен разве что своими малыми размерами, спартанской скромностью палисадника и свежекрашенным сиреновой краской штакетником. Кстати, и сам Владиков тоже роста небольшого и тоже не всегда гладко выбрит.

И вот этот самый Владиков поднимается с постели в независимости от времени года в пять утра, кормит свою старую надменную кошку, пьет чай с мятой, перечитывает в который раз районную газету, смотрит в телевизор, и все никак не может дожидаться, когда же пробудятся остальные горожане. Где-то около восьми часов он уже в центре городка пребывает в радостном нетерпении и стремится отловить хоть кого-нибудь, чтобы приветливо спросить:

– Ну, как, смотрел вчера, как «Спартак» «Рубин» уделал? Это теперь он на каком же месте? Не знаешь, а-а-а... Слышал, небось, Пашку Хитрого схоронили? Слышал? А-а-а... Жалко мужика – мог бы пожить еще... Не старый еще. Не знаешь, отчего помер-то? Нет? А-а-а... Слышал, под первое сентября ярмарка будет. Говорят, понавезут всего: и сахар подешевше, и масло постное, и курей... Слышал? А-а-а.

По своей общественной природе Владиков – истинный демократ и законченный коммунист одновременно. Он всегда за правду, всегда за свободу, равенство и, ясное дело, братство людей, независимо от их возможностей и способностей. Он всегда с большинством против меньшинства. Он

часть той части народа, которая всегда озабочена судьбой страны и даже большей частью мирового пространства. Он понимает себя так, будто собирается стать каким-нибудь депутатом. Обладая ценной информацией, Владиков всегда найдет способ пожать руки наибольшему числу согорожан и согорожанок. Для этого он и стоит у дорожного перехода и встречает старушек, ковыляющих от рынка к «Сбербанку»:

– Ну, как? Отоварилась? Говорят, яйцо подорожало, а с Нового года, говорят, крупы почти вдвое подорожают. Вот дожили до какой жизни!

Встречные обычно вздыхают и спешат дальше, всерьез опасаясь, что Владиков продолжит диалог в виде привычного всем монолога.

Владиков – добрейший человек. Он никогда не обидится и никого не обидит, потому что он бескорыстен и справедлив. Он бесплатно распространяет среди людей газету «Правда». Ему доставляет истинное удовольствие упорно нести правду в массы. Он не обижается, если кто-то вдруг упрекнет: «Все никак не утомилась?» А Владиков скромно так шмыгнет носом и ответит мягко, без вызова в голосе: «Теперь уже ни к чему менять свои принципы». Но, если бы кто предложил ему объяснить, что за принципы ведут его по жизни, Владиков не смог бы связанно этого сделать. Он и не собирается ни себе и кому-то еще что-то объяснять. Для него главным было не спрашивать у себя и не объяснять себе, а действовать ежедневно и ежечасно, внушая окружающим, как было хорошо «при коммунистах» и как плохо теперь, неизвестно даже при ком. Владиков, когда не болеет, ощущает себя мессией, вождем и трибуном, жалко, только без толп поклонников, учеников и талантливых последователей.

Но время беспощадно даже к трибунам и мессиям. Владиков стареет, теряет зубы, морщины на его челе становятся все неприличнее, имена вспоминаются теперь реже. Все чаще ему приходится импровизировать и уточнять:

– Слышал, в Ростошах опять дом сгорел? Слышал? Не в Ростошах? Ну да, не в Ростошах, а поближе... Где-где? В Первом Эртиле? А ты сам-то откуда знаешь? Про это все знают? А-а-а...

И уже следующего встречного совершенно искренне спрашивает:

– Не слышал? Говорят, в Копыле дом сгорел? Говорят, дочиста. До самого фундамента. Хорошо хоть люди спаслись. Дома-то все старые и проводка еще с советских времен – вот и горят без конца. Кругом одно безобразие.

Географические подробности никогда не интересуют Владикова. Он справедливо полагает, что дом может сгореть в любом месте, а человек в состоянии утонуть в любом мало-мальски глубоком пруду. Никто в этом мире, как известно, не застрахован от пакостных неприятностей.

Отец Владикова воевал на фронте, подвозил продукты к полевым кухням, служил в трофейной роте, прошел и проехал пол-Европы, а потом еще дослуживал в чистеньком австрийском городке. Он впитал и во всем полюбил сталинский порядок, по первости способствовал его утверждению даже «на гражданке», но разочаровался в соотечественниках, а после того, как его за это еще и побили заводские приятели, сам начал выпивать и мусорить, как остальные. Но любовь к порядку отец успел привить единственному сыну, поэтому тот и рассуждал:

– Видал, как тротуары из плитки на морозе кладут? Видал? При Сталине за это бы расстреляли. А еще говорят, что к хорошей жизни идем. Какая же хорошая жизнь с такими тротуарами? Только деньги казенные разбазаривают. Только и знают, как ими карманы набить побольше.

Владикова невозможно обидеть. Он слишком добрый и общественно настроенный. Он никому не хочет зла, все в городке так его и понимают. Однажды на остановке у магазина «Логос» деревенская женщина в почтенных летах

обратилась к нему с просьбой подсказать, на каком автобусе ей доехать на «Кочетовку». Владиков с воодушевлением отнесся к ее просьбе, расспросил о цели и причинах ее визита в райцентр и только потом, не глядя на маршрут, вежливо посадил ее в автобус, следовавший в направлении «Новостройки». Таков он, наш безупречный герой.

Однажды бродячая собака покусала его супружницу Марию. Покусала не сильно, можно сказать, и не покусала совсем, а только выпугала. Сам Владиков никогда бы никаких претензий к животному заиметь не смог бы, а тут, как-никак, супруга – существо слабое и нервное. По доброте своей причинить зла животине Владиков сам-то и не способен. Пришлось ему купить литровку водки равнодушному к чужим невзгодам соседу Славке, который в тот же вечер выследил, заманил, отловил и повесил на яблоне ту или какую-то другую, но тоже беспривязную собаку.

Супруга Владикова тоже общественница и тоже трудилась до ухода на пенсию в разных местах: птичницей, сезонной рабочей, завклубом, подменной дояркой, буфетчицей и уборщицей в парикмахерской. Она тоже любит ходить по городским улицам, но дома находится чаще мужа, оттого что приходится стирать, готовить и постоянно подклеивать обои. Ей нравится, что мужа все время не бывает дома. А детей Господь не послал им. Их им отчасти компенсировала старуха-кошка, которую можно еще с утра пнуть под пушистый зад, если откажется употребить колбаску или не вполне свежую рыбку – мойву.

Владиковы с годами стали глуховаты, поэтому соседи через участок всегда в курсе их семейных радостей и печалей. Она часто величает Владикова «глухим пеньком» и «глупым тетеревом», а он по природной гуманности своей не обижается, серьезно слушает и все всегда делает по-своему, справедливо полагая, что женщины – существа наивные, иррациональные и в жизни разбираются не лучше, чем в футболе.

Как-то Владиков отмечал с ветеранами заводского производства светлый праздник Седьмого ноября, необыкновенно быстро сделался пьяным и, придя к дому, на не твердом наречии громко велел, чтобы супруга Мария побыстрее встречала его непосредственно у дверей и желательно в кокошнике с чаркой водки на подносе. Порог дома не был высоким, но оказался достаточным, чтобы при падении с невысока подломить пару ребер. На гневный выпад супружницы Владиков по справедливости почти и не обиделся, а его кости довольно скоро зажили через месяц.

Эти же ребра у него уже болели лет двадцать тому назад. Тогда Владикову в профкоме неожиданно выделили путевку на отдых и лечение в Кисловодске, хотя он и не помнил даже, что хоть чем-то в своей жизни болел. Кроме гриппа, конечно. Через пару дней активного отдыха Владиков почувствовал, как ослабили его семейные узы, и принялся обхаживать женщину ростом и комплекцией похожую на его же супругу. Обхаживал он ту женщину целеустремленно, терпеливо и энергично, а когда уже собирался оставить ее как бесперспективную, то она сама согласилась на близость, потом еще несколько раз подряд не устояла перед непреодолимым обаянием Владикова, а к отъезду ближе уже и весь третий этаж санатория сочувствовал его тщетным попыткам охладить пылкую мадам. Когда пришло время паковать чемодан, Владиков со скрытым, но очевидным удовольствием расстался с безутешной пассивностью. На перроне он прервал ее попытку поцеловаться, пожал ей руку и строго констатировал: «Долгие проводы – лишние слезы». Но мы, как известно, в ответе за тех, кого приручаем. Почти вслед за отдохнувшим Владиковым почтальон принес в его дом открытку в духе: «Люблю! Целую! Как теперь жить?» Почту приняла удивленная супруга. Тогда-то и появились впервые трещины в его ребрах, но Владиков все это стоически и с пониманием претерпел, и

ребра быстро поджили, а их интимные отношения с супругой только улучшились из-за этого.

Надо сказать, что Владиков очень любил разные остроумные шутки и интермедии, хотя анекдоты давно и широко известные рассказывал отвратительно и смеялся над ними всегда только сам и то недолго.

Владиков – сторонник традиционных ценностей. Он принципиально говорит не пионеры, а «пионэры», не музей, а обязательно «музэй» или «шифонэр». Этим он выделяет себя из серой массы поклонников тлетворного Запада и идеологических перевертышей, которые предали идеалы отцов и пресмыкаются перед барыгами-капиталистами. И в этом он прав абсолютно, безусловно и бесповоротно.

Когда в наш городок проник коварный коронавирус и пошли слухи про тяжело заболевших, Владиков верить им не стал. Он точно знал, что это происки коварных толстосумов, которые только и знают, что угнетать и губить простой народ. Поэтому Владиков каждый день ходил по опустевшим улицам, чтобы сеять истинную правду о коварных замыслах международного империализма. Теперь он просыпался еще раньше, боясь проспать начало своей добровольной миссии.

В конце июля прошел слух, будто заболел Владиков коварным коронавирусом, а неделю спустя будто его не стало. Жаль стало его Марию и всех нас, что на одного общественника и доброго человека в городе поменело. Но слухи быстро развеялись. Вчера я лично видел Владикова у перехода, значит, все не так и плохо, а жизнь не утратила свойство налаживаться.



А ЧЕ?

У каждого дееспособного человека имеется в жизни некое правило, которое направляет, помогает, предостерегает и определяет его место среди других. Правила, как известно, бывают в основном твердые и малозыблемые. Они выбираются нами или выбирают нас сами сообразно тому, что больше нам подходит, и в чем мы нуждаемся в разных обстоятельствах. Главное жизненное правило, однако, ни у кого из живущих не может появиться ниоткуда и ни отчего. Правило, наоборот, складывается у каждого индивидуально, постепенно и длительно.

Первые слагаемые главного правила жизни у Петра Громовозова, конечно, объявлялись с малолетнего возраста, но это были только намеки в виде маминых и бабкиных упреков по поводу недоеденной каши или недопитого молока. Но не случайно же он навсегда запомнил совершенно случайный эпизод, свидетелем которого он мог вполне и не быть, если бы заболел или не пришел в школу по причине поездки к бабушке в дальнее село.

В конце примерно седьмого года учебы их класс сидел на уроке литературы, а их учительница и классная руководительница Зоя Федоровна раздавала им их же тетради и комментировала, за что и почему снизила оценки. Петя Громовозов получил свой законный «тройбан», сделался еще более равнодушен к дальнейшему и заинтересованно рассматривал появившиеся выпуклости Томки Фоминой – самой крепкой девушки в классе. Но вот Зоя Федоровна вдруг объявила о том, что Элька Сосновская удостоена на

сей раз только четверки. Элька Сосновская – самая умная и грамотная не только в классе, но по всем делам и во всей остальной школе. Она – круглая по всем предметам отличница, которая не вызывала неприязни и зависти оттого, что давала списывать всем, и оттого, что всегда пахала, как «папа Карло», даже тогда, когда от нее уже и не требовалось этого. Элька – шухарная любительница и организатор разных коллективных событий типа походов в кино, сооружений катков, организации вылазок и прочей тусни, которая всем нравится, но из-за которой никто не хочет напрягаться.

Пахать также, как их Элька, в классе никто не мечтал, поэтому на нее не обижались даже по причине того, что ее всю жизнь куда-то избирали, выдвигали, назначали и посылали. В классе были равнодушны и к тому, что, по слухам, Элька была наполовину еврейкой, хотя и вполне привлекательной с разных сторон. И Эльке поставили четверку. Она могла бы просто погоревать, может, поплакать и успокоиться, но она стала громко, настойчиво и убежденно в присутствии всего класса доказывать неправоту Зои Федоровны – пятидесятилетней, одинокой, бездетной, конченной патриотке родного языка. Кажется, Элька яростно доказывала, что ей удалось-таки раскрыть образ героического борца за счастье трудового народа Павки Корчагина. А Зоя Федоровна, удивленная бунтом раскрасневшейся красавицы, уже явно из принципа не хотела признать правоту и с раздражением приземляла Эльку:

– Я смотрю, Эля, ты совсем не хочешь меня слушать. И дело не в том, что ты не понимаешь моей правоты, а в том, что слишком хочешь доказать всем свое «я», показать всем, как ты выросла и какая стала самостоятельная и взрослая.

Класс затих и напрягся. Впервые в коллективе бунтовал не какой-нибудь балбес и заслуженный двоечник, а активистка, которую уважали не только директор школы, но и практически все педагоги, включая трудовика и учителя

физры. На равных в том споре оказывались и Зоя Федоровна, и Элька Сосновская, но «классная» оказалась равнее и не изменила своей оценки, а только обиделась на Эльку и вывела ей единственную в ее жизни четверку. Все, включая и умную Эльку, поняли потом, за какие это ее заслуги.

В монтажном техникуме Петя Громовозов и двое его одноклассников неудачно отметили его день рождения. На тот самый день проучились они ровно месяц, меры в спиртном совсем не ведали, конспиративного опыта не имели, ну и случилось так, что они были пьяны и шумно вели себя в общаге, о чем все и знали сразу. Ну, а если знают все, то непременно должны последовать какие-нибудь правильные меры. Они и последовали. На комитете комсомола побледневшие приятели вели себя как раскаявшиеся грешники, но не сознавались, откуда взялась роковая самогонка. Приятели сочли за бесчестие выдать самого именинника, а именинник тоже скромно промолчал. В итоге недолгих разбирательств приятелей с сожалением отчислили, а Петра Громовозова со «строгачем» оставили.

Удивительно, но засел в памяти Петра и другой незначительный эпизод. Как-то опять же в общаге, в его комнате всей группой отмечали какой-то праздник. Вдоль комнаты положили платяной шкаф, придвинули кровати, сидели друг на друге. Выпили вина, потянуло сблизиться, а танцевать в тесноте было невозможно, и сами собой пошли разговоры, анекдоты, споры. Всеобщий любимчик девушек, балагур и весельчак Миша Бойко пылко утверждал:

– А че, ребята? Главное в жизни не высовываться и не лезть вперед, не порождать зависть других. Вон, смотрите, динозавры и мамонты давно вымерли, а маленькие ежики живут себе. Вот Высоцкий. Кто его только не слушал, не пел и не любил. Ну и что в итоге? Сгорел как свечка, а мог бы пожить, если бы поспокойнее. Звезда посмертно – это для глупых, а кто поумней – тот и в тепле, и с мясом.

С Мишкой не соглашались, обзывали его приспособленцем и «ну, ты даешь», но сильно на него не злились, потому что лично Мишка был всегда готов ко всяким подвигам. Петр мимикой тоже обозначил свое несогласие, но озвученное Бойко запечатлелось, обсело и не вытерлось из его памяти, как подавляющее большинство из того, что слышим и видим мы ежедневно и ежечасно.

В зимнюю сессию последнего курса обучения произошел совершенно иного рода, но тоже памятный случай. В главном корпусе техникума производился очередной ремонт, в части аудиторий еще шли занятия, остальную часть предоставили под заочников в основном из сел. Для сдачи экзамена комендант подыскал подсобное помещение в отдельно стоящем ветхом краснокирпичном домике, который студенты зачем-то именовали «Сарбоной». Сарбона не отапливалась, экзаменатор хотел быть принципиальным, в итоге больше половины группы легло потом с гриппом и ангиной. Как не околели в своем капроне девушки, известно было только им самим.

Неделю спустя перед каникулами Петр поджидал своего приятеля-земляка, чтобы договориться о покупке билетов, и случайно услышал, как декан факультета распекал того препода:

– Я, конечно, все понимаю – все сошлось: и ремонт, и этот бестолковый комендант, но твоя эта принципиальность, ну явно с глупейшим перегибом. Они же пока просто взрослые дети. Их бы и побережь, между прочим, неплохо было бы. Это хорошо, что никто никуда не пожаловался, а то всем бы досталось по полной.

– А че, Владимир Иванович? Моя-то в чем вина? Экзамены есть экзамены и принципиальность никто не отменял. Я и сам чуть не заболел, спасибо, нижнее белье пододел.

Диалог этот, так себе диалог, но Петр Громовозов понял его так, что прав вовсе не декан, а преподаватель, который полагал пострадавшим прежде всего себя.

Как-то так, а, может, и по-другому формировалось главное правило петровой жизни. Потом служба в армии в знаменитой гвардейской танковой дивизии, которую часто показывали как образец в телепередаче «Служу Советскому Союзу». Умилительные сказки о несокрушимой танковой мощи, отваге и выучке личного состава сильно радовали мирное население, а новобранцам-духам старший сержант Коняев – высокий, поджарый и самоуверенный «дембель» сказок не сказывал:

– Солдатское дело тупое. Утром поднимут, вечером «отобьют», а в промежутках прапора скажут, когда ссаться в комбез, а когда можно и без. Умники и олени у меня будут в упоре лежа зубрить Уставы, а те, кто службу раньше всосет и лычки получит, и в отпуск домой съездит. Ферштейн, духи?

Духи дружно и мрачно отвечали:

– Так точно, товарищ гвардии старший сержант.

Петр Громовозов всосал службу заметно раньше многих. Он никогда не отжимался по-честному, а «бомбил», припадая то на левую, то на правую руку, беззастенчиво выставляя для опоры колено. Во время утреннего марш-броска он подгадывал себе место не спереди и не сзади, и не рядом с теми слабаками, которых требовалось тащить за ремень или толкать в спину, сбивая собственное дыхание. Петр не верил, что лично ему придется всерьез защищать страну и поэтому не видел повода не вывернуть клапан противогаза, чтобы свободно дышать во время бега в этом мерзком презервативе. Техническая подготовка давалась ему – сельскому парню не слишком сложно. В отношении старших по званию Петр Громовозов демонстрировал образцы почтительного стремления овладеть науками танкового боя в обороне, в наступлении и прочих обстоятельствах.

Через полгода ему присвоили младшего сержанта. Но вскорости он с огорчением убедился, что лычки ничего,

кроме ответственности за других, не влекут, и резко убавил обороты, сделавшись как все. Через год он сходил в отпуск и специально «залетел» на гауптвахту, чтобы освободить черные погоны от лычек. Единственным удовольствием для него стали увольнительные в город. У КПП в погожие дни в поисках «простого женского счастья» фланировали вульгарные девицы. Многие «клевали» на его усеченный «поплавок» – свидетельство об окончании техникума. До поры Громовозов брезговал дамами, но потом поднабрался опыта, отыскал восторженную дурочку и без длительных уламываний посадил ее на постельную романтику. За полтора месяца до «дембеля» восторженная дурочка с надеждой на его радостную реакцию, с волнением сообщила, что она беременна. Петр окаменел от неожиданности, но справился с собой и неопределенно обещал что-нибудь придумать. Ходить после этого дня в увольнения ему совершенно расхотелось. Чтобы убить время, он старался больше спать и даже взял для быстрого засыпания книгу из дивизионной библиотеки. Для приближающего дембель сна существуют в армии каптерки, сушилки, боксы, капониры, темные закоулки вещевых и продовольственных складов, а в принципе, любые места, где нет прапора или офицера.

Предмет его любовных утех каждое воскресенье дежурила у КПП и все выпрашивала, не знает ли кто Петра Громовозова. Ей ввали по-разному. Кто-то говорил, что не знает, а другие, что его послали в длительную командировку куда-то на Восток.

Нельзя и думать, что Петр не переживал беременность глупой симпатяжки. Но попереживал, попереживал, да и настроил себя не терзаться без толку. В каптерке с «дембелями» под их молчаливое одобрение говорил:

– А че? Она баба, хоть и молодая, но должна же башкой думать, когда соглашается. Сучка не схочет, и кобель не вскочит.

Но «дембель», он, как известно каждому, кто познал тяготы армейской службы, неизбежен, примерно как крах мирового капитализма. Наступил тот день и для Громовозова. Накануне ему вновь кинули «младшего», но он лычек пришивать не стал, а переоделся на вокзале в гражданку, заранее запрошенную с родины. За последние месяцы он поправился и с большим трудом влез в брюки и пиджак, а выточки на спине рубашки пришлось расшить аккуратно иголкой.

Встреча с родными, кутежи со школьными корешами, курение при родителях и демонстрация значительного жизненного багажа, приобретенного лишениями и ядреным потом, ему в конце концов тоже надоели. Прошвырнулся в губернию, побывал в общаге, потусил с бывшими первокурсниками. Деньги кончились, пора было возвращаться.

Дома отец пристроил на временную работу диспетчером автопредприятия. Работа не пыльная и простая, как дважды два – три. Ночи напролет дискотеки, податливые девачи, мечтающие об обеспеченном замужестве. Как-то отец, заметно нервничая, сказал ему:

– Ты, это... Что-то затянулась твоя встреча... Забеременеет какая... гляди... нам с матерью нехорошо будет за тебя. Определись какая по душе, да женись, не мальчик уже...

– А че? Жениться, так жениться. А жить-то где? С вами вместе. Нынче так не живут.

– Ты, это... Не переживай за это то есть. Поможем построиться. Участок есть. Матерьял купим. Построимся – небось не дурнее других.

С ходу найти себе спутницу жизни посерьезнее не получилось – не все ведь бывают разумны в молодости. Одних отпугнула его слава разбитного гуляки, другие не поверили его посулам осчастливить по гроб жизни. Как-то друзья позвали на дискотеку в соседнее село. Поехали. Присмотрелся. Зряшная затея – одна мелюзга да старухи. Перед уходом пришли

двое новеньких. Та, которая слева, пухленькая, глазастькая и смешливая, и в меру фигуристая – вроде и ничего. И зовут ее, оказалось, неплохо, просто и без выпендрежа – Валя Голева. Пригласил он Голеву на медленный танец, приобнял, подтянул поближе, почувствовал волнительную упругость и в ней, и в себе. Взволнованно определился про себя:

– А че искать-то? Девка хороша. Видно, и не гулящая, не курящая, краснеет почему зря.

Но сильно не спешил, навел справки про Валентину, ее родителей и родню, как живут, какое подворье. Порадовало, что училась Голева неплохо, но окончила потом только ПТУ. Совершенно справедливо умозаключил: чем меньше знает, тем меньше о себе мнить будет.

На ближайшей дискотеке спросил Валентину:

– А че, пойдешь за меня замуж?

А Валентина сделала шаг назад, откинула пухленькой ручкой желтые волосы, стрельнула веселыми глазками и с вызовом ответила:

– А че не пойтить? Могу и согласиться. Только свадьба, как положено, все при всем... а не с бражкой в нашей столовой.

После всех брачных дел с детьми тянуть не стали. А че тянуть-то? Хорошо, когда у детей на свадьбе еще молодые родители, а не пердуны старые. Родился мальчик-первенец. Родители, родственники, кумовья, соседи полезли с предложениями разных имен. Имена предлагали, вроде и неплохие, даже местами интересные, но за всех неожиданно решила Валентина:

– А че тут решать-то? Назовем Петром в честь нашего любимого папы. Нехай будет Петром Петровичем.

Петру Громовозову сделалось малость стремно. Мода-то заметно поменялась. Кругом одни Александры, Николай, Константины, на худой конец Валерии или Анатолии, а Петр только один, как рыба об лед. Но, с другой стороны, оно каждому приятно, когда эдак, в твою-то честь. При-

кольно! Выходило, что супруга умно поступила, хотя и растолстела после родов.

А с работой Петр тоже не стал заморачиваться надолго – взял да и пошел шофером в местную ментовку. Тоже мудро он тогда рассудил:

– А че? Вон у Вальки моей дядька родной давно уже в ментах ходит. Хоть всего-то прапорщик, а, как говорится, сыт, пьян и нос в табаке.

Младшему сержанту Громовозову, как отцу двоих детей, присвоили очередное звание сержанта и через самый «верх» пробили беспроцентную ссуду на строительство индивидуального жилья.

Петру пришлось, конечно, тут повертеться. Строиться было тогда тяжело. Строиться – оно всегда тяжело, а молодым и тем более. Договорился с одним «предом» надергать пасынки столбов от заброшенной фермы, с другим лес привезти, с третьим – распилить его на колхозной пилораме, а лесничего пришлось не только попоить с неделю, но и договориться замять старое административное дело. Зато напиллил вместо дровяного деловой кругляк. Без магарычей, конечно, никуда. Теща гнала флягами самогон, а он только успевал договариваться то там, то сям. Помогал служебный УАЗик и близость к начальству, которое стремился тоже не подводить. Весь измыкался Петр, даже в весе скинул пару кил.

А начальство, оно тоже ценит тех, кто много не разговаривает, кто успевает и на работе, и в доме, и даже на стороне. Лишь бы на здоровье, да без скандалов и пересудов, что вот, мол, опять менты такие-рассякие. Громовозову предложили поступить заочно в школу милиции. Вечером на глуповатые сомнения уже немало раздражавшей его своим мелкоумием жены объяснял ей элементарщину:

– А че? Что я теряю-то? На сессии буду отъезжать. И че? Че, мне теперь к твоей юбке привязаться и не расти по службе?

Поступил. Получил первую малюсенькую звездочку. Стал офицером, как-никак. На первых порах, больше оно, конечно, никак. Взаимодействие с населением – это, в принципе, без проблем, зря только все стонут, а вот работа с бумагами – полная задница. Ему как молодому ничего не прощалось, нюх натирали по-взрослому, без стеснения им затыкали любые дыры. Настоятельно рекомендовали принять участок в самом беспокойном микрорайоне с бомжами, цыганами, безработными и без меры пьющими женщинами. В разговоре с ним зам по кадрам отстраненно вопрошал:

– А че ты, Громовоз, боишься? Во-первых, «летеху» кинут досрочно. Во-вторых, авторитет завоюешь. А в-третьих, и до тебя там работали и че-то не видно, чтобы кто-то надорвался, а только по службе двинулся. Я вона тоже прочим между участковым побегал в свое время.

Тяжело опять стало Петру Громовозову, хорошо хоть опера помогали, паспортный стол, ПДН и ребята-гаишники. Со временем вроде попривык, поприспособился. Тяжесть физическая – это на жаре и на холоде постоянно в форме, а мотоцикл с коляской, раздолбанный до крайности, постоянно ломался, да и бензин приходилось клянчить по предприятиям. Само собой рейды, дежурства, усиления никто не отменял. Все время на службе: ни выходных, ни проходных тебе. Пока все злачные места объедешь, глядишь, и ночь кончается, а там по пузырью изъятый самогонки на брата со слабенькой закуской и еле через порог дома. И провал сознания до новой побудки.

Домой иногда и совсем не являлся. А че туда являться, когда заранее знаешь про Валькины упреки и претензии? Лучше уж к Лавриненко. Огонь-баба. Хоть и при муже – бывшем эке, но пухленькая, веселая и дерзкая. А что они вытворяли – такого и половины не могло быть с Валькой. Ко всему прочему Лавриненко еще и информатором ценным

стала. Кто с кем, когда, где, зачем и в каком составе она «на раз» выясняла через свою торговлю на городском рынке.

Но человек, он ведь, как давно известно, не собака и не вол. Он не может так, чтобы изо дня в день, изо дня в день одни только обходы, опросы, допросы, протоколы, отчеты, справки, приводы, задержания, отчеты, усиления, выпивки, бабы, достройка дома, постройка сарая под кур, а следом и сарая под поросят. Человек должен восстанавливаться, латать свои нервишки, наполнять себя положительными эмоциями, восстанавливаться морально. А как тут восстановишься, залатаешься и эмоционально воспрянешь, когда Валька все время на работе, или с больными детьми, или уголь носит, или в огороде жука травит, или по магазинам своим носится, или, еще лучше, к маме своей уедет. Разговаривать с ней, что с глухой – внимания никакого, а претензий и запросов, как у графини какой. А особенно раздражало, когда даже по телефону жаловалась матери своей без зазрения совести в его присутствии:

– А че? Мужика-то в доме нет. У него на уме только служба, а когда не на службе – он сильно уставший, ничего не может и лучше совсем не подходи к нему.

От такого тупого непонимания собственной жены Громовозов иногда даже звонил приятелю, чтобы его «спецом» вызвали по служебным делам. После вызова ругался, что без него никак не могут обойтись, брился, одекolonился по-быстрому и исчезал на радость к Вике Лавриненко, Машке Киреевой, а то и прямо из дому вызывал «на природу» молодую, безбашенную, но любящую его Алевтинку. И что характерно: ни одна из пассий Громовозова не требовала от него бросить супругу и стать ей заменой, не просила ни подарков, ни услуг, поскольку час-полтора творческих утех как бы сами собой были им и подарком, и услугой. Пару раз в его отсутствие на самом деле звонили из «дежурки». Валентина говорила, что Петр уже вызван, но мужа продолжали разыскивать, и она начинала

не шутейно ревновать. Потом заявлялся злой и уставший супруг и орал, что его сослуживцы дебилы, что должен соблюдаться режим неуклонной секретности, а иначе все эти засады только коту под хвост.

Служебный стаж медленно, но возрастал, и как-то ситуация вышла из-под контроля. Уволился бестолковый начальник, пришел на замену молодой и ретивый майор. Несколько раз вызывал в свой кабинет с портретами президента и министра МВД, знаменами, гербами и многочисленными благодарностями ему в рамках по стенам за безупречную, по всем признакам, службу. Молодой начальник хмурился, бычился, пучился и только потом низким голосом человека, крайне страдающего в интересах общества, картавил:

– А че это? На твоем участке совсем нет порядка? А, может, там и участкового совсем нет? Как так можно яблотать? По кьязам – ёст. По алиментам – ёст. По бытовухе – тоже ест. По чего только не возьми, один только ёст.

Громовозов порывался объяснить, что «ёст» далеко не по всем показателям, что по тяжким, наоборот, снижение и что по наркоте и грабежам есть успехи, но начальник не хотел и слушать:

– Г-гомовозов, ты весь отдел назад тянешь! Из-за такой яботы мы не то что в пьизах, а скоё и на последнем месте не будем.

Волнение и страх не позволяли Петру до конца осознать, в какое все-таки место может угодить их дружный отдел из-за его неудач. Но совсем безнадежно не мог понять, как он сможет улучшить все эти проклятые показатели, если и без того половину заявлений от граждан он уже прятал, рвал и заставлял угрозами отозвать по замирению сторон. И, наоборот, почти каждый сам собой проявившийся факт кражи кур, кроликов, баклажанов, огурцов и слив участковый принципиально заставлял оформлять соответству-

ющими заявлениями граждан и тут же оформлял явку с повинной очередного злодея. Кривая раскрываемости уже не росла, несмотря на то, что его оперативная работа среди вдов и разведенек стала заметно эффективней, а круглосуточные засады и рейды назло расхитителям, самогонщикам, продавщицам товаров сомнительного качества и иным несознательным элементам стали еще более частыми.

Количество всегда копится, прежде чем перерастет в качество. Как-то утром, глядя в чужое зеркало на собственное, но чужое опухшее лицо и проблески ранней седины, Петр неожиданно спросил себя:

– А че хорошего я нашел в этой ментовке? Свет клином на ней сошелся?

Сказал и сделал. Так иногда поступают русские мужики, когда им все выше ноздрей, когда легче кажется только в петле. Начальник без сожаления передал «наверх» его рапорт.

Свобода ударила в самый мозг бывшего капитана полиции первым длительным запоем, уходом из дома в никуда и облегчительным осознанием, что он теперь не слуга государства, не слуга картавого слуги, а достойный человек, у которого все хорошее впереди.

Жизнь наша и переменчива, и гораздо на сюрпризы, от нас не зависящие. Возводятся и рушатся дома и истины, потерявший вдруг находит, а безнадежное оборачивается новой яркой надеждой, толстый начинает худеть безо всякой диеты, к оглохшему возвращается слух, а к слепому... Нет, про слепых утверждать не стану, чтобы не влезть в библейские дела. Все меняется. Только главное правило – ждать и не высовываться – неизменно, прочно и незыблемо. Из-за «существенных недостатков» молодого начальника районного отдела при подсказке снизу его же подчиненных о его поборах с торгашей и фермеров своевременно переназначили в другой похожий район, а на-

чальником утвердили одного из его бдительных замов. А тот вскорости позвал на беседу Петра Громовозова. Петр явился трезвым, выбритым и подтянутым, так как из отдела еще утром вытекла информация, которая спустя всего десять минут дотекла до свободного от службы Отечеству человека. Он сидел в том же кабинете, временно лишившимся настенных грамот и под шумок не поставленного на баланс совершенно ничейного телевизора. Петр старался не выдать того, что предложит ему новый начальник, а новый начальник, немало поработавший опером, почти наверняка знал, что и в этот раз произошла нежелательная утечка. Однако ничто не помешало ему деловито и по-отечески предложить Петру восстановиться в полиции, прежнюю должность с ускоренным получением майора:

– А че ты, собственно, теряешь? Во-первых, зарплата теперь у нас хорошая. Во-вторых, авторитет у тебя уже есть и будет сам работать на тебя, а в-третьих, и до выслуги не так далеко.

В последнее Громовозов совсем не поверил, но согласие дал. Известие это тоже достигло ушей Валентины раньше, чем хозяин ступил на порог собственного дома. Без предисловий она со слезами проканючила:

– Петь, а, может, передумаешь?

– А че, я такой идиот, что ли, нашелся? Работа та же, а зарплата намного выше и скоро на майора представят.

И завертелось многое по привычной траектории, по привычной, но с другими ощущениями, поскольку хоть что-то, но поменялось. Только никто не мог заметить, что же поменялось. Звание майора прилетело не слишком быстро. Петр поступил на дистанционное платное обучение в какой-то филиал Московского заочного университета и даже сумел окончить его. Его авторитет и возможности расширились. За три года до пенсии по выслуге лет ему предложили подполковничью должность заместителя начальника

райотдела с необходимостью ежедневного сочинения кучи отчетов, донесений, рапортов, справок, объяснительных и осуществления неусыпного контроля за правопорядком на административных территориях. Должность явно предполагала наличие интеллекта, кругозора и патриотичного отношения к службе. С патриотизмом дела у Петра обстояли блестяще. Остальное должно бы вызвать в нем ужас и панику, но спустя год Петр Громовозов получил «подпола». Отчеты за него составляли молодые подчиненные, с которыми он держал себя подчеркнуто строго, а разговаривал по своему правилу мало. Бывало, потемнеет ликом, сведет морщины к переносице и спросит авторитетно:

– А че это у тебя на участке совсем нет участкового? – А потом после паузы возьмет и добавит погрустневшему коллеге: – С такими показателями, как у тебя, мы скоро не то что в тройку, даже и на последнее место не попадем.

Пару лет назад подполковник полиции Петр Громовозов вышел на пенсию по выслуге лет, недельку попился водки и качественного самогону, оженил младшего сына, погасил досрочно ипотеку за квартиру старшего сына и устроился начальником охраны на местном высокоприбыльном заводе. Проницательный читатель, конечно, уже догадался, что главенствующим при новом его трудоустройстве стало:

– А че бы и не устроиться? Сил и здоровья пока хватает. А что не так – в любой момент брошу.

Летом на вечере встречи одноклассников единственный пенсионер класса Петр Громовозов не без тайного удовольствия сочувствовал материальному положению своих давних приятелей и особенно организатору встречи Эльви-ре Сосновской.





ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Людмила Федоровна Косинова – бухгалтер хлебоприемного пункта и ранее осознавала, что Он – личность особенная, таинственная и вовсе не такая, как ее понимают окружающие. Всем известно, что бухгалтерия научает людей быть точными, скрупулезными, все подмечать и запоминать. Она и подметила несколько Его поступков, которые, на поверхности, не поддавались рациональному объяснению.

Однажды, например, Он попросил выдать ему зарплату пятирублевыми монетами. В бухгалтерии повозмущались-повозмущались, понегодовали-понегодовали, но не решились собачиться с Ним и выдали-таки пару килограммов металлом, даже не спросив, для чего Ему оно такое. Было как-то и похожее: по весне выгнал начальник

всех итээровцев на субботник прибраться вокруг здания конторы. Женщины шурудили граблями, таскали листву, белили бордюры, а мужчины курили, рассказывали анекдоты и заинтересованно поглядывали на тех из них, что постройнее в футболках и джинсиках, проворнее и поворотливее прочих. Все как всегда, если бы Он не перешел через дорогу и не начал в одиночку вырубать поросли клена. По совести сказать, это надо было бы давно сделать, чтобы виден стал поворот дороги, на котором год назад приезжий из Жердевки столкнулся с «Ауди» местного шустрилы у быковатых «крутых». Мужики начали было подначивать единоличного героя, но Тот молчал и только яростнее махал топором, и вскорости интерес к нему улетучили легкий весенний ветерок и приход корреспондентки из местной газеты, которая начала «фоткать» мужчин для ближайшего репортажа об участниках безвозмездного полезного труда.

Его особенность исходила и оттого, что Он при невысоком росте привлекал к себе внимания больше, чем значительно более высокие, при вполне заурядной внешности неглупые женщины предпочли бы иметь дело с ним, а не с каким-нибудь там красавцем, только у Него спрашивали закурить, интересовались результатами футбольных матчей, прогнозами погоды и чем лучше обработать сад от тли и всякой другой неприличной напасти. А Он и образования-то особого не имел – так, физмат пединститута и довольно. Разговорить его в рабочее время стоило немалого труда, но иногда Он и сам вдруг, без видимых причин, начинал тихо говорить необычно увлекательно о вполне обычном, а вся бухгалтерия невольно замолкала и переставала пялиться в осточертевшие прямоугольники мониторов.

Людмила Федоровна сводила квартальный отчет, программа упорно выдавала «красноту» и никак не сулила уяснить, что счастье сорокалетней матери троих детей вовсе не в том, чтобы все «сошлось в углы» от долгого сидения, про-

верок и перепроверок «мудрых цифирей». Муж Людмилы – водитель-дальнобойщик вернулся из-за Урала, отсыпался и, наверное, уже поджидал ее возвращения с «копеечной» работы, ради которой архиглупо заниматься ей в будни, а не то, что еще и по выходным. Муж, конечно, уже не набрасывался на свою Людочку, не тащил взволнованно в койку, как бывало ранее, но она-то ждала его, как прежде, из дальних рейсов и должна бы и теперь иметь совесть явиться домой пораньше, приготовить что-нибудь необычно вкусное, позаниматься с детьми и прополоть огород. Но мы, как давно известно, все рады бы в рай, но не все туда попадем.

Он уже сидел в своем углу, когда она вошла, приветливо поздоровался и предложил кофе с печеньем на тарелочке. Людмила Федоровна хотела кофе, но подумала, что не до этого ей, что надо поскорее свести балансовый отчет, и вежливо отказалась.

Он заговорил совершенно неожиданно и так, словно продолжил давно начатый диспут. Говорил, вначале глядя в экран монитора, и могло показаться, просто считывал и озвучивал чужие мысли:

– Столько техник безопасности по любому поводу. Столько инструкций где, как и что делать и на производстве, и в быту, и даже на отдыхе. Столько всего понаворотили: читай, исполняй и живи вечно, пока самому не надоест. Инструкции, вводные, тренинги, деловые игры, практикумы, а глупого существования и бессмысленных смертей все больше и больше. И гибнут-то те, кому вроде бы еще и рановато, кому жить да жить бы полноценно.

Людмила Федоровна неожиданно для себя поддержала тему, но на всякий случай поправила Его:

– Это не нам здесь решать, кому и сколько жить.

Он серьезно так взглянул на нее и рассеянно пояснил:

– Да я совсем не об этом. Не о том, кому и сколько отпущено. Любая самая умная инструкция по применению

чего-то там, любые правила дорожного движения не имеют главных строк про то, надо ли вообще применять, надо ли лично тебе иметь машину в принципе или от этого одни проблемы и тебе, и окружающим. Люди вроде бы и не бараны, много знают и много умеют, но кидаются что-то делать и не могут даже сообразить, что им не стоило даже и начинать этого. И так ведь со всеми или почти со всеми. Моя супруга каждый год высаживает сотню корней помидоров, все лето поливаем, подвязываем, окучиваем, обрабатываем, а потом больше половины уходит в никуда. Благо, рядом Толик-алкоголик ни от чего не отказывается. Скармливаем ему помидоры, огурцы, яблоки, виноград и сливы, а он и спасибо никогда не скажет, мол, благодарите меня, что не все у вас на помойку уходит.

– Жить своим трудом не так уж и плохо. Когда все свое, понадежнее и почище будет. А сто корней многовато, но мы ж боимся, если земля пустовать будет. Боимся, что спина не будет болеть, что время не потратим.

Он сморщил нос:

– Нет. Не то, я опять не об этом. Вот техника безопасности. Вернусь к ней. Все хорошо и надежно. Каждый пункт от жизни, выстрадан несчастными случаями и подтвержден практикой применения. Но люди значительно чаще гибнут не по причине нарушения техники безопасности, а от другого. Замечали когда-нибудь, Людмила Федоровна, как кто-то, вдруг ни с того ни с сего заболит, запаршится, упадет духом, станет ныть и жаловаться на судьбу. Живет, живет человек, все мается, все не ладит с самим собою, не может найти свое и пускается во все тяжкие, день прошел, и слава Богу. Свои проблемы гасят спиртным, чужие – глухотой и слепотой, экономят себя любимых и наивно ожидают необычных чудес. Кстати, помнишь, в Панинском районе какая-то домохозяйка выиграла несколько сотен миллионов? Хороший мой знако-

мый рассказывал, какие беды свалились на нее после этого: страх, что пропадут или украдут, множество обращений посторонних и незнакомых помочь с лечением, претензии родни, предложения банков и организаций, как наилучшим образом распорядиться «манной небесной». Ужас. Продала дом, переехала в Воронеж, потом серьезно заболела, нажила себе массу врагов.

– Уныние – тоже грех и на судьбу жаловаться не нужно. А нужно помогать другим, особенно когда есть возможность, быть добрее и поменьше о себе думать, а то только и слышишь кругом: «дожить до ста лет», «берегите себя», «любите себя», «умейте дать сдачи». А зачем до ста лет небо коптить, если это противно окружающим и в тягость собственным детям?

Он оживился:

– Да вот я примерно о том же. Нами управляет наш компьютер – мозг, а в нем порядка ни у кого нет, сплошной хаос и глупость, как в соцсетях. Никто не формирует культуру мышления, нет никаких правил и инструкций на этот счет, одни стереотипы. Мой хороший знакомый работает как вол, держит по двести бройлеров, больше сотни индюков, пятьдесят кур-несушек, свиней, быков – поседел, провонял весь навозом, таскает на себе мешки с зерном, пилит дрова на продажу, чем только не занимается и все деньги тратит на дом. Построил сам в одиночку громадный подвал, два этажа и мансарду, сорвал спину, нажил сахарный диабет, а для чего гробится и, похоже, сам не знает. Оба сына бездельники и неизвестно, где и чем промышляют, престарелые родители из деревни к нему на второй этаж не поедут, друзья не ходят, соседи не разговаривают. Дом достроит, но кому на тех этажах жить-то? Что в его голове? Ни дурак, ни умный – просто никакой, но вдобавок ему еще и завидуют: «Смотрите, какой прохиндей, какой домяко отгрохал!»

Он вышел из-за компьютера, присел на краешек стола и продолжал:

– Помнишь Таньку Гостину? Баба с дипломом, нет, вроде даже с двумя, но толком нигде не работала, меняла мужей, пила-гуляла, троих родила, полгорода споила самогонном, со всеми судилась, жалобы во все концы строчила. На самогон, хвасталась, даже квартиру в Воронеже купила. Исчадие прямо какое-то. А что в итоге? Помирает теперь больная раком в одиночестве. Сын – то ли наркоман, то ли просто говнюк, профукает все. Муж, ты знаешь, повесился, бедолага. Рядом никого и все прахом, столько усилий, столько энергии для чего и для кого? И как такие не боятся суда Вышнего? А не боятся, оттого что считают себя правыми, исключительными и всего в этой жизни и после нее достойными.

Людмила Федоровна заволновалась, ненароком смахнула ручку со стола, подняла, покраснела, будто речь шла о ее сестре или дочери, позабыла, что должна завершить отчет:

– Знаете? Вы вот об инструкции сказали для мозгов. А, может, Евангелие надо почаще читать, там обо всем сказано.

Он тоже теперь волновался и досадовал на то, что не может быть убедительным, не дается ему образно и стройно формулировать мысли и ощущения:

– Евангелие-то, Евангелие, но ведь даже и те, кто его читает и те, не проникаются, а продолжают блудить, завидовать, злословить и воровать. Знаю лично многих воцерковленных, как они о себе думают, но посещение храма не делает лучше ни мыслей, ни поступков их. Зато они любят поучать, к какой иконе свечку надобно ставить и сколько поклонов бить. В церкви слишком многое формально, зависимо от денег и благосклонности иерархов. А если к этому добавить уровень некоторых самих батюшек, то и совсем темно делается. Смартфоны, тачки, коттеджи

с картинами, баньки, садочки с фонтанчиками, павлинами и прочей фигней. Какое уж тут Евангелие? Кто ж всерьез поверит, что такие сами следуют выстрадавшему Иисусом учению? Почему это наш батюшка не остановит сгорбленную бабулю, которая спешит на холоде помыть тряпкой из ведра его личную «Тойоту»? Почему не растолкует ей, что она должна служить Богу, а не ему? Почему «святые отцы» спешат окружить себя удобствами и роскошью? Ну да ладно, лучше помолчу. Судить, конечно, грешно. Не судите, да не судимы будете.

Людмила Федоровна иногда думала ровно так же, но поддерживать Его не стала, а только вздохнула:

– На все воля Божья и всем Он судья справедливый.

Он тоже не был настроен развивать в том же духе и возвращал разговор в прежнее русло:

– У меня часто ощущение, что кто-то целенаправленно гонит людей к глупоте, не дает им задуматься о собственном месте, о реальной пользе для себя и близких, о любви к другим, о бренности тряпок и побрякушек. Посмотри вон хотя бы на нашу Инку – каждый день меняет наряды, боится лишний пирожок съесть, чтобы не потолстеть, вечно злая из-за этого, все считает, выгадывает, покупает шмотки без конца, чем-то омолаживается и не в состоянии понять, что из-за ее бульдожьей хватки никто ее не любит, и она никого не любит тоже, а муж ее при каждом удобном случае ходит налево. Она, конечно, далеко не одна такая. Интернет – возбудитель тщеславия. Фото на фоне гор, водопадов, морей, отелей, дорогих машин, леопардов и крокодилов, в ресторанах и бутиках. Большинство даже не понимают, что фон выглядит намного красивей их самих, что фото у красивого моря лишь подчеркивает твое вываленное пузо, а резиновые тапочки и шорты, что ты сам намного дешевле ступенек дорогого отеля. Главное здесь втюхать всем прочим зависть, что ты там был, то ел и это

пил, то видел и это мог себе позволить, что твоя «жисть удалась». И почти не встретим мы в «Одноклассниках» фото ни из библиотеки, ни из театра, ни из музея искусств. Зачем тебе книга, когда ты сам такой исключительный, успешный и безумно креативный?

Людмила Федоровна попыталась защитить людскую популяцию:

– Умных людей у нас тоже много. Посмотрите, сколько новых открытий и достижений в науке. Одна медицина чего стоит. Какие операции, какое оборудование, какие возможности. Даже, слышала, искусственную кожу изобрели от ожогов. Операции на глазах стали чуть ли не каждому делать. Органы пересаживают, суставы меняют, омолаживают и протезируют. Вон вакцину от ковида и ту так быстро изобрели.

Он выгадал паузу и равнодушно добавил скепсиса:

– Изобрели – это хорошо, и даже произвели ее тоннами, а что толку? Как умирали, так и умирают. Страдают тяжело, экономику подсадили, нарушили привычные связи, сама жизнь стала – без маски никуда. А люди не прививаются. Слушают всякую лабуду про то, что потом не родишь, будешь каким-то не таким, про чипизацию, про заговоры и умышленное умерщвление людей. Рядом хоронят в целлофане, страдают от последствий, становятся слабыми, но умереть боятся меньше, чем сделать пару бесплатных уколов. Сами медики и те несут всякую дичь, как будто их и не учили в академиях и ничего они не слышали про вирусы, прививки и антитела. Это что, разум работает или мы возвращаемся к уровню пещерного мышления? Мне одна учительница с жаром частила, что заразиться в церкви маловероятно, намекала на то, что молящиеся под защитой Матери Божьей, что крест животворящий и усердная молитва спасут от любой хвори, а потом как-то потише стала, когда мать свою похоронила еще не ста-

рую и сама переболела, но ты ей хоть кол на голове теши, продолжает доказывать, что главное верить, а не предохраняться. Иногда возникает ощущение, что человечество утратило способность мыслить вне стада, вне чуждого влияния и в русле хоть какой-то логики, а мир наш катится к трагической развязке. Хотим быть индивидуальными, но все татуированными с надутыми губами, в коротких юбках, даже если она трещит на тебе по всем швам. Ну ладно бы в послевоенное время не могли люди наесться, много работали физически, а теперь-то зачем по столько жрем? Как после блокадного Ленинграда. Глянешь, идет такая совсем молодая, но жир аж с боков свисает – ни обойти, ни объехать, типа «любите меня и такой», а потом у них по расписанию депрессия оттого, что их не хотят и не ценят. Ходят такие куры-бройлеры и даже не думают: а как же реализуют они само свое везение жить, видеть белый свет, цветенье вишен, полет птиц, слушать шум леса и водопада, испытывать восторг оттого, что ты преодолел себя, что ты можешь, что кому-то нужен и почти все нужны тебе.

Людмила Федоровна молчала, сделавшись грустной и слабой. Ей захотелось, чтобы кто-нибудь спросил ее о том, как она живет, счастлива ли в семейной жизни, удовлетворена ли своей работой и знает ли, как жить дальше. Обидной горечью всплыли черствость мужа, ленное невнимание к ней со стороны своих же детей, ежедневное телефонное пустозвонство сестры и бессмысленность дурацких квартальных отчетов, на секунду она даже почувствовала, что готова броситься в объятия человека, созвучно страдающего теми же душевными недугами, что и она. Людмила Федоровна готова была исповедоваться и открыться в самых мучительных своих тяготах, несмотря на то, что Он не открыл ни одной подробности о своих грехах и падениях, что, не спросясь, использовал ее для тестирования своих способностей воздействия на других. Она стала благодар-

ной Ему за дорогую подсказку дерзнуть подумать о смысле каждодневных слов и поступков.

Людмила Федоровна молча собралась и не торопясь отправилась домой. Через месяц она уволилась с работы, через полгода разглядела измены мужа и развелась с ним, через год переехала в другой город. Обрела ли она теперь гармонию с собой, я не знаю и фантазировать на сей счет не стану. Не призываю и вас, любезные мои читатели, к столь кардинальным поступкам в личной жизни. Просто я ее понимаю и отчасти завидую ее способности к осмысленным переменам.





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

У Валерия Васильевича Рыжова с годами стали случаться некоторые затруднения в памяти. От серьезных перегрузок на работе случалось, ни с того ни с сего, вдруг забудет отчество какого-нибудь нужного начальника. Да еще в тот момент, когда уже наберет номер начальника на телефоне, а в самый момент, когда тот откликнется, Валерий Васильевич Рыжов скажет любезно: «Здравствуйте, уважаемый Павел, э-э-э...» – и пауза. Стыдно и досадно – хоть плачь, а что поделать? Начальнику там, за сотню верст, становится грустно. Он думает, что его не уважают и не ценят – даже отчества не помнят после того, как не раз клялись в искреннем почтении и безмерном уважении, клялись на смерть почти на Библии и вдруг взяли и позабыли.

Валерий Васильевич обратился к хорошему доктору, и хороший доктор посоветовал ему «пропить Пирацетам – замечательное средство от памяти». Валерий Васильевич, не откладывая дело в долгий ящик, тем же днем купил чудодейственные таблетки. При этом с ним, правда, случился характерный его состоянию конфуз. Подзабыв название пиллюль, вначале Рыжов купил Парацетамол и почти уже собрался употребить оный, как и полагалось, вовнутрь, но бдительная жена распознала оплошность, и пришлось обращаться в аптеку заново.

Зря все-таки ругают наших докторов, особенно хороших. И население наше зря пугают, мол, все таблетки – сплошная подделка не чистых на руку дельцов и преступников. Уже через месяц Валерий Васильевич начал догадываться, что память крепнет и неуклонно возвращается к нему. В определенное время, кажется, в воскресенье, он почувствовал себя совершенно исцеленным и прекратил ежедневное лечение.

А воскресенье, конечно, мы все любим за то, что можно не ходить на работу, не загружать свой ум разного рода размышлениями о том, как улучшить жизнь народа и выполнить в срок и со вниманием поручения строгого, но справедливого, как он сам о себе думает, шефа. Но любое воскресенье имеет подлое свойство быстро кончаться. Не успеешь толком отдохнуть, а вот уж почти и вечер. Надо спешить насладиться общением с супругой, которую за неделю, считай, и не видел и почти не говорил с ней, если не считать общением телефонные поручения типа «купи хлеба», «посыпь курам», «зайди к маме», «вынеси мусор» и «накорми кота».

Воскресный вечер располагает к разного рода воспоминаниям, к теплым разговорам о молодом времени, об учебе в институте, службе в армии и «как в первый раз познакомились». Неспешная беседа с супругой текла уже с полчасика. Говорили о друзьях и общих знакомых. Валерий Ва-

сильевич напомнил жене: «У Михал Петровича был брат. Помнишь? Высокий такой, на Алевтине Егоровой был женат. Красивая пара была, заметная. Жалко, развелись по глупости. Как его звали-то? Не помнишь? На Розы Люксембург жили в самом конце. Не помнишь? Михал Петрович помогал им дом строить. С мансардой, такой, красным шифером крытый? Хороший такой дом и стоит на углу с подъездом с двух сторон. Удобный. Помнишь? Ну как его брата звали-то?»

Но супруга не могла вспомнить, и Валерий Васильевич продолжил наводить ее на правильную мысль: «У брата этого Михал Петровича еще «окушка» была дедова. Деду как фронтовику, ветерану войны ее дали. А потом он – брат-то Михал Петровича купил себе праворукого «японца», а уже потом «Ниву Шевроле» кофейного цвета? Помнишь? Он на ней куда-то в посадки под Ростов за жердеями ездил, а потом на нашем рынке торговал. Ты еще не захотела покупать, говорила, что незрелые и дорогие. Помнишь?»

Супруга помнила и добавила: «Ну как же я не знаю брата Михал Петровича? Прекрасно даже знаю и его самого, и дочку его Юлечку. Она у Надежды Викторовны училась в одном классе с нашей племянницей Танюшкой. Умная такая девочка, полненькая. Круглая отличница была до восьмого класса. Картавила только немножко. Наша Танюшка у нее на дне рождения познакомилась с Генкой Шаровым. Помнишь Генку Шарова?»

Валерий Васильевич помнил и Генку Шарова, и всех остальных друзей племянницы, но никак не мог прояснить, как звали брата Михал Петровича.

– А я смотрю, память у тебя дырявая стала. Элементарное что-то уже забываешь. А ведь мы с этим братом Михал Петровича на Битюге как-то отдыхали в одной компании. Помнишь? Ты еще новые шлепки под кустом тогда забыла. Возвращались уже с полдороги. Не помнишь, что ль?»

Жена отчетливо помнила и отдых, и новые шлепки голубенького цвета, мягкие и удобные. Она только не могла вспомнить имени брата Михал Петровича, как ни старалась. Валерий Васильевич уже сердился и удивлялся: «Ну, что ты будешь делать? Вылетело из головы. Имя-то самое простое. Ну, вспомни: брат этот одно время в автоколонне работал. Выручал нас как-то. Подвез от поворота в сторону Ивановки. Помнишь, тогда дождь пошел? Уже промокли все, а он нас подобрал и даже денег не хотел с нас брать. Ну, что, не помнишь, что ли?»

– Да помнить-то помню. Что не помнить-то? Даже знаю, с кем его Алевтина подгуливала. Юрку Сотникова помнишь? На гитаре играл в парке на танцах. Высокий такой и волосы такие тоже длинные. Из-под рубашки тельняшка всегда торчала. На флоте вроде служил. Многие на него тогда посматривали, а он так и не женился. Уехал куда-то потом. Хотя, может, там, где и женился давно, – с мечтательной грустью отвечала жена.

– Да ты мне что, про Юрку Сотникова рассказываешь-то? Я сам про него тебе целую кучу расскажу. И даже знаю, где он теперь в Воронеже живет и с кем сошелся. Ты лучше вспомни, как брата Михал Петровича звать-то, – с досадой советовал Валерий Васильевич.

– Да не знаю я. На языке вот вертится, а вспомнить не могу. А стоит перед глазами, как он тогда на стадион пришел пьяный и заскандалил с Ромкой Сдвижковым. Ромка-то и выше, и сильнее, а не стал связываться. Только оттолкнул его, а тот еще затылком об дверь саданулся, – опять не к делу продолжила жена.

– Ну, при чем тут Ромка? Что он тебе, Ромка этот? Правильно сделал, что не стал руки марать. Кому это надо? И люди кругом. Я своими глазами все это видел и на футболе был. Наши тогда проиграли «Промбурсельводу» 0:2. Обидные плюхи пропустили в самом конце игры. Да как

его звали-то? Черт побери! Удивляюсь, ей-богу, я, как это ты не можешь вспомнить самое простое, – справедливо раздражался Валерий Васильевич.

– Ну да, я одна, конечно, не помню. А ты помнишь. Сам-то лучше меня про всех знаешь, а сказать не можешь. Да и на фиг мне сдался этот крендель? Поговорить, что ль, больше не о чем? – в отместку напрасно обиделась жена.

– Интересно, а о чем еще говорить с тобой, когда ты никого не помнишь. Я ей говорю вспомни, а она напрочь все позабыла, – непонятно для кого зло заговорил о супруге в третьем лице Валерий Васильевич.

– Да я-то точно обо всем забыла, а ты, можно подумать, обо всем помнишь. Да нужен он тебе, этот Михал Петрович, да еще со своим братом в придачу? Тебе-то что, с ними деньги, что ли, делить? Заладил, как попугай: «Помнишь – не помнишь», – в ответ обсердилась супруга.

– А при чем тут попугай? Ты че это заводишь-то? Я всего-навсего как человека хотел тебя попросить назвать имя брата Михал Петровича. Вечно ты нервы взлохматишь без дела, а потом дуешься, что часто собачимся, – в сердцах махнул рукой на жену Валерий Васильевич. Он уже собрался завершить неприятный разговор и пойти на кухню. Валерия Васильевича всегда в раздражении почему-то пробивало на еду, и как раз из-за этого год от года он набирал лишний вес. Он уже повернулся, чтобы идти, но за спиной услышал: «Вечно ты во всем меня винишь. Сам начинаешь, а потом я всегда виновата». Эта стандартная сентенция всегда задевала Валерия Васильевича. Он терпеть не мог, когда жена произносила стандартные и глупые заклинания типа: «вечно ты...», «вот так всегда...», «другие люди, как люди...», «и зачем только я...». В них слышался намек на то, что совместная жизнь супруги из-за него не задалась, а будто бы могли быть и иные варианты.

– Ну, спасибочки, поговорили называется. Устроила мне хороший выходной. Не пойму, какая муха тебя на этот раз укусила? Всего-навсего попросил тебя сказать, как зовут человека. Как человека, между прочим, попросил тебя, а ты, коза, весь выходной мне из-за этого обгадила, – уже кричал Валерий Васильевич.

Он громко хлопнул дверью и вышел на улицу. Потом вернулся, поискал что-то в карманах куртки, не слишком понимая, что он ищет. Снова вышел на улицу. Хотел вернуться и сказать супруге, что она не умеет жить спокойно, без брехни и всегда найдет повод для того, чтобы только разозлить мужа по пустякам на ровном месте. Но как воспитанный человек Рыжов сдержал себя, поборол гнев и только покраснел от возросшего давления крови в возмущенной голове.

Его мозг требовал справедливости и будто отдельно от него самого негодовал: «Черт бы побрал все эти чертоты таблетки. И этот врач тоже хорош. Нет бы на выбор что-нибудь путное посоветовать, а то только Парацетамол. Тьфу ты, не выговоришь, Пирацетам один только посоветовал, а толку никакого – хрень одна, да и все. Лучше бы жене посоветовал, чтобы помнила, как кого зовут. Ну, как же его зовут-то, этого охламона – брата Михал Петровича?»

Перед глазами Валерия Васильевича встал образ брата Михал Петровича. Он видел его в мельчайших подробностях, как наяву. Видел, как тот даже улыбается, какого роста, стати и в чем одет. Показалось, что он даже ускользающий запах почувствовал. Но это только мешало ему сосредоточиться. Вспомнить забытое имя становилось делом принципа, самоуважения, индикатором способности обладать памятью и как минимум самой главной задачей не только выходного дня, но и предстоящей ночи. Валерий Васильевич понимал, что он и не заснет до той поры, пока

не вспомнит этого распроклятого имени. Он начал суетливо подстраивать разные имена под отчество «Петрович». Но скоро понял, что даже если ему попадется «правильное» имя, он его не распознает. Ситуация выходила из-под контроля. Обратиться за помощью к разобиженной жене он уже не мог. А к кому же тогда еще? Звонить кому-то было тоже глупо. Все-таки время уже за полночь. Все уже спят безответственными снами и ни о чем не волнуются. А тут, как в пустыне – больная голова от жары, не к месту понос и сотни верст во все стороны.

Он вспомнил, как ежедневно принимал таблетки от памяти. Как старался восстановить и укрепить ее по совету врача. А что получилось в итоге? Какую-то элементарную ерунду никак не может припомнить. Злость на себя, жену, нашу ненадежную медицину с ее бесполезными таблетками и бестолковыми докторами просто разрывала Рыжова изнутри.

Жена ушла в отдельную спальню, посопела, поворочалась там сердито и потушила свет. Валерий Васильевич чуть не взревел от такой измены и равнодушия к его очевидным страданиям. «Неужели, коза, не понимает, что я так не могу? Неужели ей по фигу, что мне невыносимо? Да она вообще-то никогда и не жалела меня. Никогда обо мне как следует и не заботилась. Ей главное, чтобы я побольше денег ей носил на новые ее наряды, на ее сумочки и на ее дезодоранты. На какой хрен я, как дурак, все время ишачу? Каждый день нервничаю, стремлюсь лишнюю копейку для дома заработать. Стараюсь лишний раз пива не попить – лишь бы ей было хорошо», – горько думалось Валерию Васильевичу. В носу пощипывало от слезливого разочарования в вечных и традиционных семейных ценностях, но выхода так и не находилось.

Но вот ему сообразилось: «А ведь у брата Михал Петровича такая же фамилия, как и у самого Михал Петровича, и по фамилии и отчеству всегда легко вспомнить и само

имя. Но какая же фамилия у братьев? Какая же у них фамилия? – отчаянно напрягал непослушные извилины Валерий Васильевич. «Стоп, а какая фамилия у жены Михал Петровича? Ведь они записаны на одну фамилию. Какая же у них фамилия? Нет, ну так можно и с ума сойти. Так можно и в дурку запросто загреметь. Стоп. Михал Петровича в школе дразнили Котом. Его так все всегда и называли – Кот да Кот. Стоп. Да и фамилия у него Котов – вот и звали его из-за такой фамилии Котом».

Лоб Валерия Васильевича покрылся испариной. Он испытал победное облегчение, наверно, такое, как какой-нибудь большой ученый, академик, как физик-ядерщик, нашедший сложнейшую формулу расщепления элементарных частиц. Фамилия Михал Петровича – Котов. Точно, Котов Михал Петрович. А брата его звали Генкой. Точно, Генкой!!! Генкой! Генкой? Стоп, нет, не Генкой. Не Генкой? А тогда как?» – снова зашел в тупик Валерий Васильевич. «Как же звали этого долбаного брата? Как его, скотину безрогую, звали-то?» – снова смерклося в голове, надежда ускользала в час ночи. Мозги буквально чесались и не хотели помочь Рыжову. Верно, так и сходят обычно с ума все приличные люди.

Валерий Васильевич из-за нервных напряжений опустошил холодильник и уже намазывал горчицу на хлеб, чтобы только утолить нервный аппетит не совсем всухомятку. Затылок пекло, глаза щипало от утроенной дозы свежей горчицы. На глаза Рыжову попался его «дембельский» альбом. Он любил его иногда открывать, возвращаться во времена беспечной молодости, когда все было еще возможно и все только начиналось, а мир вокруг был цветастым и фигуристым, как сарафан соседки – Лариски. Чтобы хоть как-то отвлечь себя, смирившегося с бессонницей, он начал перелистывать жесткие страницы. Может, впервые в Рыжове не возникло никаких эмоций, как будто в этом

бархатном произведении армейского искусства не имелось и смысла. Ни фотографии сослуживцев, ни сержантские лычки, ни фотографии веселых подруг, ни виды города Горького не пробудили теплых чувств о предательски ускользнувшей молодости. На предпоследней странице увидел фотографию брата Михал Петровича. Тот снялся в обнимку с каким-то сержантом. Воротники у обоих не по уставу расстегнуты, ремни болтаются, у одного рука в кармане, а у другого в левой руке даже сигарета, а, главное, довольные улыбки – как будто они на курорте, а не в армии, на защите нерушимых рубежей страны.

Валерий Васильевич прямо закипел от такой наглости солдат-раздолбаев, которым Родина доверила защищать ее. Он вырвал фотку из прорезей листа, порывисто порвал на мелкие части, достал мусорное ведро из-под раковины, на белой стороне увидел размашистую надпись: «...угу Валерк... яна». Валерия Васильевича чуть не разорвало: «Тва-а-ю мать! От Толяна! Точно! Ну точно же!!! «Моему другу Валерке от Толяна»!!! Это ж он мне свое фото из Иркутска присылал. Точно. Из учебки».

Валерий Васильевич заснул не сразу. Спал беспокойно. Несколько раз просыпался от выбросов изжоги в пищевод. Ходил в туалет, разводил в бокале и пил противную соду. Наутро с женой разговаривать не смог. Поел без обычного аппетита и без хлеба, который кончился ночью. Заговорили супруги Рыжовы через три дня из-за необходимости отыскать паспорт Валерия Васильевича. Паспорт нашелся на редкость быстро. Разругаться по этому поводу не успели.



ПРАВДИВЫЙ СЕЛЬСКИЙ СЛУЧАЙ

Василий Семенович Зырялов работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Красный большевик» и значился на хорошем счету. Это было не удивительно и вполне заслуженно, поскольку он – участник Отечественной войны, награжденный пятью юбилейными медалями и боевой наградой «За взятие Варшавы», да к тому же находился на ответственной должности уже более десяти лет.

Двое его предшественников не продержались в этом качестве и по полгода. Один был уволен за быстрое пристращение к спиртному, а другой сбежал сам рядовым скотником на свиноварную ферму.

Главными слагаемыми Василия Семеновича как руководителя служили требовательность и умение исполнить приказ председателя беспрекословно, полностью и в срок. Почет и уважение, как известно, даром не даются, с неба не падают, а завоевываются старанием, нервами и сопряжены с трудностями, а, бывает, и негативными последствиями для личного здоровья. Участок трудовых усилий Василия Семеновича являлся довольно хлопотным. Под его началом состояло три десятка женщин-колхозниц и почти ни одного мужика, если не считать таковыми конюха-инвалида, древнего деда без годов Ивана Никитича и пацана-водовоза Петьку «белого». В штате бригады числился еще и слесарь по прозвищу Гудрон, но в работе его никто ни разу не видел, так как первые полгода тот сильно пил. А последние три месяца лечился за казенный счет в Перелешинском ЛТП.

Каждый семейный человек на собственном опыте знает, как сложно строить отношения с женщиной, а бригадир Зырялову приходилось иметь дело со многими из них сразу. Он каждодневно вынужден был вбирать в себя их отрицательные эмоции, вызванные однообразием течения жизни, непослушностью детей и поведением непутевых мужей.

Выполнение производственных задач начиналось с раннего утра, когда, как выражался сам бригадир, черти еще с углов не падали. Просыпался Василий Семенович быстро, выпивал двухлитровую банку молока, закуривал папиросу «Север», надевал галифе офицерского образца, фетровую шляпу, обувал яловые сапоги, после чего был вполне готов к исполнению трудовых обязанностей.

Местом расположения подразделения Василия Семеновича служила небольшая конюшня, которую все называли

почему-то маштаркой. Раньше это была караулка местной церкви возле кладбища. С 30-х годов церковь как вредный культовый объект и пережиток темного прошлого была сломана, а караулка служила конюшней центрального участка колхоза. На все лето лошади разбирались по домам теми, за кем были закреплены, и в маштарке ночевал только служебный мотоцикл «Минск» бригадира Зырялова.

В половине седьмого к колхозной маштарке подходило, позевывая и лениво перебраниваясь, два десятка колхозниц с тямками на плечах. Несмотря на ранний час, на лицах большинства из них читались признаки утомленности. Женщины успели подоить коров и отогнать их в общее стадо, накормить свиней, отогнать на луг телка, посыпать курам, собрать на работу мужей, подточить тямки и наскоро, на бегу перекусить хлебом с молоком или простоквашей.

Каждый раз Зырялов лелеял надежду, что хотя бы раз за всю его руководящую карьеру без поисков и понуканий соберется вся его бригада, но каждый раз надеждам не суждено было сбыться. Отправив женщин на прополку свекловысадов, Василий Семенович вывел из маштарки «Минск», критически осмотрел мотор и единственную трубу, проверил наличие бензина, оправил байковую рубаху под ремешком на манер гимнастерки и отправился по домам собирать неявившихся на работу.

Маршрут поездок и интервалы остановок бригадира были почти штатными и оттого, что от работы отлынивали одни и те же, и потому, что все жили на одной улице, прозванной когда-то Большим Плантом.

Первым предстоял визит в дом Нюрки Поповой – женщины положительной, спокойной, но очень болезненной. Нюрка маялась головой. В холод и в жару носила она пуховый платок и, в отличие от большинства деревенских, имела совсем белое лицо. К ней можно было б и не заезжать, но две недели лили дожди, свекловысады сильно заросли, и каждый человек был нужен как никогда.

Заслышав знакомое тарахтение красного мотоцикла, Нюрка сама вышла на порог и жалостливым тоном, виновато глядя в сторону, произнесла уже сотню раз слышанное:

– Даже не заязжай, Василь Семеныч. Не пойду я. Не гожусь я покамест. Болею – страшное дело. Не дай Бог никому, как болею. Не обижайси, стало быть, Василь Семеныч и язжай с Богом. Как хворь пройдет...

Василий Семенович, не слезая с мотоцикла и не глуша мотора, досадливо крикнул и, раздраженно перебивая Нюрку, приказал:

– Ты, эт-та, решай. Хватит, значит... Ты этой своей болезней меня уже прочичикала до ребер. Всю бригаду в хвост тянешь. Мне план из-за тебя никто не снизит. Давай эт-та как-то решай...

После этого Василий Семенович проезжал десяток метров к соседнему палисаднику, к Сорокиной Верке. Верка была бездетной вдовой и жила вдвоем со своей престарелой матерью. Несмотря на крепкое здоровье, в колхозе работать она заметно не любила, и это сильно раздражало Василия Семеновича не только как руководителя, но и просто как обыкновенного колхозного патриота. Бригадир постучал в дощатую со щелями дверь сенец, потом толкнул ее внутрь. Дверь открылась лишь наполовину, затормозив нижним концом за неровность пола. Василий Семенович боком прошмыгнул внутрь хаты и с порога начал ругаться:

– Верка, имей хоть какой стыд. Я что тебе, дешевле всех, что ль? Что эт-та я должен к каждой, что ли, заходить? Имей совесть и сознание и давай наострайся в поле, а то допрыгаешься у меня.

Сорокина смущенно подвинула табуретку, позвала бригадира присесть и начала вкрадчиво уговаривать:

– Василь Семеныч, ты не шуми. Не шуми. Не серчай зазря. Не могу я. Я ноне за справкой собралась в район. Последний день ноне в собесе выдают. Договорилась

с Вовкой Хомяковым. Щас заедя за мной. Не серчай ты, Василь Семеныч. Последний раз...

Бригадир стал совестить Верку еще громче, ее как неосознательную бабу за то, что «она свои личные интересы задирает далеко выше колхозных». В разгар его увещаний Верка метнулась за занавеску, достала из углового шкапа четверть с самогоном, налила стакан по самый рубчик, положила рядом соленый огурец и льстиво попросила:

– Василь Семеныч, не ругайся, не серчай, ей-богу. На вот, не побрезгуй, выпей лучше первачка. Выпей. Буде тебе, не горячись. Не волнуйся, бери, тяни.

Василий Семенович уже ясно понимал, что Верку на работу сегодня можно не ждать, даже если не поедет в город за своей чертовой справкой. Свое отношение к ее поведению он уже исчерпал и теперь не видел причины, которая не позволила бы ему отказаться опрокинуть стаканчик. Он чинно снял шляпу, оправил байковую рубаху на манер гимнастерки, бережно, двумя пальцами ближе к доньшку взял стакан и медленно вылил его в себя, красиво оттопырив мизинец. Так изящно пил трофейный шнапс начпрод полка, в котором довелось служить Зырялову. Манера понравилась Зырялову, и он воспринял ее как достойный пример для подражания. После опрокидывания, еще не вернув стакан на место, он поморщился, понюхал свой указательный палец, шумно выдохнул, открыл глаза, вернул стакан и только после этого торопливо закусил. Уже двигаясь к выходу, Зырялов поставил задачу назавтра во что бы то ни стало быть к сроку «безо всяких там скощений».

Через пару дворов далее проживала Ткаченко Манька – известная своей скандальностью и шумоватостью баба. У Василия Семеновича заранее ухудшилось состояние при одной мысли о необходимости ругани с бесстыжей бабой. Подъезжая к дому Ткаченко, он возмущенно размышлял: «Ну что за баба эта Манька? Вечно все не так у нее и все кругом

виноваты. А сама задницу отъела и с соседями брешет каждый божий день. А девки ее, говорят, хуже всех в школе. Да вдобавок, ходят слухи, что самогоном приторговывает».

– Мария, – громко и требовательно позвал Зырялов.
– Мария, выйди-ка, чего скажу, – повторно крикнул бригадир.

– Ну, чаво, чаво ты? Не глухая авось, ишшо с первого раза слышала. Видишь, не вышла, значит и не могу. Захворала я сегодня, – внаглую, не сморгнув, соврала Ткаченко.

– Эт-та что ж за болезнь у тебя такая за ночь образовалась? – требовательно спросил бригадир.

– А вот какая! Такая самая и есть натуральная, как у всех болезнь. Что, уже нельзя и заболеть человеку? – сузив глаза, еще нахальнее врала Манька.

– Что эт-та за болезнь у тебя такая, спрашиваю? День на работе, два на печи. А? Значит, болезнь? А как соломки, дровец там, как жомку привезти, так в колхоз бежишь. А? Что-то в тебе, Манька, я как пригляжусь, совсем ни совести, ни стыда никакой нету. А наглость и нахальства одна, – бригадир все больше распалялся, готовясь перейти на открытую брань.

– А ты меня и не стращай своим жомом. Не стращай. Иди вон Зинку свою и стращай. А то тоже она у тебя дуже бо-ольная. Два дня без полдня в колхозе проработала и цельными днями валяется лытки задрамши. Иди ее...

– Ах, ты, стерва такая. Ах, ты, тварь ледащая. Совсем очертенела баба, – задохнулся от возмущения бригадир. Он даже замахнулся и, будь у него в руке кнут, точно не сдержался бы. Не стесняя себя в выражениях, Василий Семенович дал волю эмоциям с импровизированной руганью и угрозой всех мыслимых лишений и кар. – Нашла кого корить, стерва бесстыжая... Ну, погоди у меня, погоди... К зиме посмотрим, как запоешь, – Василий Семенович, чертыхаясь и размахивая руками, почти бежал от ненавистного дома.

Ярость бригадира имела справедливую причину. Его жена, Зинаида Зырялова, трудилась в прошлом передовой свекловичницей, звеньевой и даже награждалась медалью как передовица и стахановка. Но лет десять тому назад она неловко упала с воза, да так неудачно, что раздробила себе колено, сломала руку и пару ребер. Рука и ребра кое-как срослись и зажили, а нога в колене с тех пор не гнулась и в паху где-то отдавало сильной болью. Ходила потому Зинаида согнувшись и перекившись на левую сторону. Не то что работать в колхозе, а и ведро воды в дом принести могла она с трудом. И, зная обо всем этом, Манька позволила себе гнуснейшую несправедливость. Возмущенная этим, душа Василия Семеновича кипела и клокотала. Как назло, еще и мотоцикл никак не хотел заводиться. Зырялов проверял бензин, дергал подсос, с силой пинал заводилку и все никак не мог успокоиться.

– Пораспустили тварей недобрых. Дали дуракам волю. Сталина на вас, сволочей, нету. Ишас бы живо за саботаж мероприятий соввласти к ногтю. Посмотрел бы, как ты тогда запела. А то повадились, лодырюги, а план за них выполнять некому...

Наконец-то с разгону Василий Семенович завел свой «Минск» и, переехав плотину колхозного прудика, остановился под раскидистой ветлой у избы Поляковых. Лидия Полякова обычно без опозданий ходила в бригаду, слыла в своем звене жадной и горячеей на работу, а тут, как ни в чем не бывало, стояла у катуха, склонившись над черным корытом.

Не успевший толком остыть от ругани, Василий Семенович с ходу загалдел:

– Ну, ты-то чаво? Чаво, я тебе говорю? Глаза твои бестыжии, Лидк. Ты-то, спрашиваю, чаво? Солнце, глянь, уже иде, – бригадир энергично показывал на скворечник, явно завывшая горизонт. – Солнце, говорю, вон уже иде, а ты все телишься. Что, иль тоже не собираешься ныне в поле?

Испуганная и расстроенная Лидия поднесла к глазам своим уголок белого платка и простонала:

– Ну, не шуми. Не шуми ты без толку, Василий Семеныч. Прямо горяч стал, мои милые, нет никакого укороту... У меня горя какая, – Лидия часто заморгала и без предупреждения дала волю слезам, которые у нее, как у любой сельской бабы, всегда неподалеку от глаз и льются по делу и совсем без такового.

– Какая такая у тебя горя? – недоверчиво спросил бригадир. – Иль с Пашкой твоим чаво? – сконфуженно смягчился он.

– Да какой там Пашка? За Пашкой, вон, Мишку послала на лисапеду. Телушка наша, тварь недобрая, ногу себе поломала, дура. Резать теперя придется. А какая в ней сейчас мясо? Какая? И кому она нужна? Какая выгода? Так что ты тут и не шуми, Василь Семеныч. Сам знаешь, по без толку не останусь. Яшачить умею... – вновь захлюпала носом Лидия.

К дому на полном ходу подлетел на своем «газоне» Пашка, резко тормознул, поднял противную пыль, выпрыгнул порывисто из кабины, на ходу буркнул:

– Здоров, Василь Семенч. – И без малейшей паузы пропустился на жену:

– Ну, ты куда смотрела? Куда ты смотрела-то, раззява? Ну, говорил, говорил ведь не гонять к ямам. Говорил? Говорил, а все без толку, – Павел в сердцах махнул рукой.

– Ну, куда ее теперя девать? Куда ее? Чтоб оно все провалилось! Ну, хоть из дома не выходи. Всегда что-нибудь случится, мать твою разэдак! Чтоб оно все пропало!

Лидия обиженно разразилась обильной влагой и ушла в сад, Павел юркнул в дом и быстро вернулся с бутылкой первача и простой закуской. Он позвал бригадира к порогу, молча накатил с краями два хрущевских стакана и подавленным баском попросил:

– Выпей со мной, Василь Семенч. Эх, мать твою разэдак. Все не как у людей. Холопишь, холопишь... Все думаешь к

делу, все думаешь, какая копейка соберется, а она, вон, – раз – и кобелю под хвост. Ладно, тяни, Семенч. Тяни.

Василий Семенович сочувственно кивнул вконец расстроенному Пашке и, отставив в сторону мизинец, чинно потянул обжигающую жидкость со свекольным привкусом. Павел сунул ему в руку ломтик заветренного сала на кусочке черствой краюшки.

– Ладно, Пашок. Я поехал. Некогда мне. Занимайся тут, а завтра смотри, чтоб твоя была, как штык, – и строго и миролюбиво обронил бригадир и направился к мотоциклу. Он достал папиросу «Север», прикурил, неторопливо расправил рубаху, поправил волосы под шляпу и с разгону завел «Минск».

Посещение четырех дворов на дальнем конце села принесло слабое утешение. Лишь одна молодая колхозница, поддавшись угрозам, решилась запереть и оставить одну в доме больную малолетнюю дочь.

В семье Семыкиных ожидали с флота сына на побывку. Уже собрались ехать встречать его на станцию и на радостях угостили Василия Семеновича такой крепости самогоном, что у него слезы выступили из глаз. Встреча сына, да еще спешащего на побывку, да еще с флота, по мнению бригадира, законно тянула на уважительную причину. Он торопливо покурил с дедом Семыкиным, тоже, как и он, фронтовиком, вытянул еще пару стаканчиков и, заметно запянев, тронулся в поле.

Еще издали Зырялов приметил свою бригаду. На самой середине зелени длинного поля белели платки и доносился ленивый спор горластых баб. Близ осинового куста в теньке стояла бочка с водой. Подъехав к ней, Василий Семенович узрел лежащего в траве Петьку «белого», попил водички и, собрав на лице нешуточную строгость, малопослушным языком приказал:

– Кобылу отвяжи... и покорми... срочно...

Не удостоив своего прямого начальника ответом и презрительно глядя на терявшую устойчивость могучую фигуру, Петька будто между прочим поведал:

– Тебя тут давеча председатель спрашивал. Велел к правлению ехать. Комиссия, что ль, какая-то едя. Из района, что ль.

«Какого рожна несет их? В такую горячую пору только их тут не хватает», – с досадой подумалось Василию Семеновичу. Вслух, однако, говорить ничего не стал, потому как негоже при малом судить о начальстве. Ему не хотелось, чтобы подчиненные видели его настолько пьяным и тем более с такой рани. Еще меньше было нужды попадаться в нестроевом виде перед строгим предом, и он попросил-приказал:

– Вот, что эт-та... Петенек... Ты эт-та... Меня здесь не видел... и, эт-та, и не слышал... Понял?... А я и сам знаю, куда мне теперь ехать... – неопределенно махнул ручищей бригадир.

Кое-как справившись с мотоциклом, Василий Семенович тронулся к маштарке. Выпитое почти без закуски спиртное, жара, духота и, конечно, сильно потрепанные нервы сказались: бригадира быстро развозило. Дойти до цели он уже никак не смог бы, но мотоцикл его, конечно, довез.

Перед тем как сознание окончательно отключилось, он успел затащить своего железного друга в маштарку и даже замкнуть на ключ. Метрах в десяти от конюшни у самой дорожки валялся снятый с колес старый ходок. На нем, перевернутом вверх дном, обычно сидели, играли в карты, курили, кого-нибудь ожидая, или даже, бывало, выпивали тайком колхозники. Василий Семенович устроился спиной на ходке и спустя пару секунд издал уверенный храп, радостно рвущийся из самых основ его крепкого еще организма.

В такой безобидной позе его и застал агроном в сопровождении учетчика тракторной бригады Ключева. Эти люди были посланы опытным председателем колхоза по марш-

руту предполагаемого движения первого секретаря райкома партии и замзавсельхозотделом из областного центра, ехавшего с целью лично изучить виды на урожай. В задачу агронома и попавшегося ему по пути Ключева входило все посмотреть и по возможности что-то задвинуть, поправить, присыпать или убрать из того, что не следовало видеть важным персонам.

Казалось, после звонка из райкома все уже выглядело на «ять» – новый, еще в складках, флаг, поднятый в честь передовой по всем статьям бригады товарища Зырялова, стенд с аккуратными рядками показателей амбициозных производственных планов на год и далее на всю пятилетку, молния на двери правления, горячо зовущая бороться за достижение пока не достигнутых повышенных обязательств, красивая лента еще не выгоревшего лозунга: «Решения XXV съезда КПСС – в жизнь!» Но начальство объявило о своем желании проехаться по полям, встретиться и побеседовать с тружениками непосредственно в поле. Каким путем оно двинется, где остановится и куда повернет, было ясно не вполне. А вдруг что-то не понравится? Вдруг что-то вызовет недовольство или, не дай Бог, раздражение партийных руководителей? Тогда жди нагоняя, да еще потом десяток лет будут вспоминать с высоких трибун о том, что там-то и сям-то были выявлены непростительные упущения в работе с массами трудящихся.

– Ма-ть честная! Что он, рехнулся совсем? Гляди, Юрь Петрович, кажись, Семеныч того... спит, – с веселым удивлением показывал пальцем на румяного Зырялова учетчик. Он не доверял глазам своим и веселился все больше: – Гля, гля. Он еще и храпит, как боров. Во дает, Василь Семенович. Во запузывает. Он же в стельку, Юрь Петрович, – продолжал бурно восхищаться учетчик.

– Сам вижу. Не ори по без толку, не слепой, – осадил Ключева агроном. Он даже растерялся. – Ну, Василь Семен-

ныч обалдел совсем. Нашел место. Думали, он интервью какое-нибудь даст, а он нашел время. Давай, буди его, может, очухается, – не слишком веря в сказанное, предложил Юрий Петрович.

Все попытки учетчика поднять спящего оказались тщетными. Зырялов лишь на короткое время прерывал храп, мотал свисшей с ходка рукой и бессвязно бормотал.

– Вот боров-то чертов. Его надо куда-то срочно девать. Иначе нам бошки поотрывают, – глубокомысленно изрек агроном.

– Давай, тащи его, заразу, к маштарке, а лучше куда-нибудь в репы. Там, может, не заметят от дороги, – предложил и себе тоже Юрий Петрович.

– Не-е. Мы его сроду туда не допрем. В нем вон, почитай, центнер веса живком, в бугаине этом. Не-е. И думать нечего – не допрем, – уверенно заключил учетчик.

– Ну, а что ты предлагаешь? Здесь, что ли, оставить его? Так, что ли, бросить? Нехай так и лежит? – горячился агроном. В его голосе и суетливых жестах сквозило отчаяние.

– Слушай, Петрович. А, может, ходком его накроем, авось видно не будет, а с дороги-то и не слышно. Давай, Петрович. А? – просиял от своей идеи учетчик. Простое решение ему явно нравилось. Агроном с уважением посмотрел на своего подопечного.

Вдвоем мужчины перекантовали расслабленное тело на траву, уложили на спину, под голову сунули шляпу, а сверху аккуратно опустили тяжелый от влаги ходок. Удовлетворенные своим нестандартным действием, мужчины поспешили на поле. Надо было еще успеть дать инструктаж женщинам о том, как отвечать и о чем спрашивать, если подъедут высокие гости.

Как принято говорить в некоторых историях, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Начальство прибыло только час спустя. Разговором со свекловичницами

приехавшие остались довольны. Первый секретарь райкома Седов предложил проехать в соседнее хозяйство, ознакомиться с положением у них, там же отобедать и подвести итоги, вскрыть резервы и наметить пути их реализации. Все дружно согласились, и кавалькада проплыла к соседям. Перед отбытием председатель шепнул агроному, чтобы не расслаблялись и ждали его в правлении.

Агроном с учетчиком и примкнувшим к ним главбухом так и поступили. Они купили заранее водку, собрали хорошую закуску, но ничего не тронули, берегли до возвращения шефа.

Председатель с парторгом явились в правление довольно поздно и под заметным градусом. Они поведали о том, что начальство в целом осталось довольным от увиденного и в районе, и в «Красном большевике». Не меньшее удовлетворение сложилось от того, что соседнее, значительно более мощное и передовое хозяйство, отмечалось в одном ряду с «просто неплохим». Души собравшихся грело, что соседей не то что не хвалили, но как бы не выделили особо.

– Ну что ж, товарищи, чуть ли не все правление в сборе, и надо нам отметить важное мероприятие. Не грех теперь и выпить за хорошую отметку наших стараний, – сверкал глазами парторг. – Так, что ли? Вы не возражаете? – церемониальным тоном спросил он председателя.

– Ясено дело – надо. Не каждый день обкомовские чины с тобой за руку здороваются и советуются, – веско поддержал председатель. – Только давайте как-то это дело побыстрее. А то скоро вон и коров уже по дворам погонят.

Регламент и порядок застолья по конкретному поводу и рядовая попойка не имели принципиальных отличий, если не иметь в виду обязательные в первом случае тосты. Вначале долго, душевно, тепло и путано говорил председатель. Он поделился своими сокровенными планами отделать в современном стиле здание правления, почистить и

зарыбить колхозный пруд и купить хоть какую-нибудь, но красивую форму колхозным футболистам. Выпивал председатель по половинке, великодушно позволяя новичкам догнать его кондицию. Потом уже больше говорил парторг. Он поддержал председателя в его смелых планах и добавил к ним предложение обязательно бильярд в сельский клуб взамен того, что испорчен на недавних выборах случайно брошенными окурками.

Прогнали стадо. Начинало смеркаться. Чаще других вставал теперь агроном. Он с энтузиазмом поддержал мысли председателя по коренному улучшению жизни в колхозе и скромно добавил, что без нового стогомета тяжело будет воплотить смелые намерения непосредственно в жизнь. Присутствующие согласились с такой постановкой вопроса, отметив способность молодого агрария соединять вопросы быта с вопросами производства материальных ценностей.

На улице стемнело, включили свет, и все заметили, что спиртного для продолжения плодотворной беседы не осталось, а еще даже главбух не выступал. Как самое заинтересованное лицо отправили за самогоном учетчика. Тот мигом обернулся, и заседание продолжилось. Речь главбуха текла в едином направлении с предыдущими ораторами. От себя он заметил, что для успеха любых самых смелых реформ по улучшению сельской жизни надо выделить средства для приобретения новых стульев в бухгалтерию. За это все дружно и по полной выпили.

Стало совсем темно. Речь взял учетчик. Каждый знает, как у нас пропорционально увеличению употребленной дозы растет степень демократии и гласности. Представитель низшего звена руководящего состава колхоза чувствовал себя уже абсолютной ровней председателю и мог любого из присутствующих поправлять и критиковать:

– Что я хочу сказать от лица себя. Не хочу никого я здесь обидеть и кого-то умалить в достижениях перед комиссией,

но основной вклад вложил тут я, – учетчик многозначительно замолк. Присутствующие вопрошающе и как могли строго смотрели снизу в его шершавый подбородок. А тот, как заправский актер, выдержав изрядную паузу, продолжил:

– А вот и то... Он вот знает и подтвердит, к чему я намекаю... – учетчик показал на агронома.

– А? Юрий Петрович... не догадываешься? А? – почти издевался Ключев.

– Тва-ю мать!! – агроном хлопнул себя по лбу и аж взвился с места. – Про Семеныча-то забыли... Тва-ю мать. Он теперь там... Сам-то он вряд ли вылезет...

Узнав, в чем дело, все разом засуетились. Председатель предложил ехать выручать бригадира на его «УАЗике». Но не успели члены правления сесть в машину, как откуда-то вынырнул мальчишка. Обрадовавшись, что он видит перед собой взрослых людей, пацаненок, волнуясь и сбиваясь, выпалил:

– Я там, там у нашей кладбищи искал, искал нашу корову... А там, там прямо на кладбище сильно орет кто-то... и просит его откопать обратно... прямо из-под земли просит и сильно ругается... прямо матом... Я, я испугался и побег домой, а мать велела бечь в правление. Говорит: «Беги. Они там еще лакают. Еще не расходились... Пусть меры сами принимают».

Меры были приняты. Зырялов обрел свободу. Извлеченного из деревянного плена, окончательно поседевшего бригадира деревенские острословы прозвали с тех пор Дракулой. Зря, конечно, прозвали. Человек после того происшествия заметно стал лучше: мягче, тише и перестал выпивать. Совсем перестал.





ОТВЕТСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Василий Павлович Высокий давно работает в нашем собесе замом грозного начальника Федотьева. По роду службы ему каждый рабочий день от начала и до его завершения приходится иметь дело с пенсионерами, инвалидами, разного рода льготниками или, что еще труднее, с теми лицами, которые вынь — положи, хотят без зримых причин и веских оснований быть инвалидами или льготниками.

Каждый день Василий Павлович Высокий медленно, уже много лет проходит по улицам нашего городка во взвешенном, степенном состоянии, наверняка зная, что возвращаться он будет уже издерганным, наэлектризованным, раздраженным и морально помятым. Таков результат его ежедневных общений с нашей публикой, охочей до всякого

рода льгот, привилегий, единовременных выплат или, на худой конец, краткосрочной помощи. При обилии огромного количества заслуженных ветеранов, бывших значимых для района начальников и преданных в прошлом этим начальникам лиц отказывать кому-то по всем мыслимым и немислимым законам нет никакой практической возможности.

С годами Василий Павлович разглядел, что те, кому льготы давались, включая и тех, кому они давались совершенно от фонаря, за «магарычи», по звонкам свыше и сбоку практически сразу уверялись в том, что получают их абсолютно справедливо, но в несправедливо малых размерах. И эти товарищи довольно быстро переставали почитать Василия Павловича за доброту его, отзывчивость и мягкосердие, известно, редкие в наши дни. Если бы посмотреть на это дело со стороны, то и в самом деле, за что благодарить-то чиновника, ежели льгота твоя заслуженная, да к тому же обидно незаметная в рублевом выражении.

Что ж говорить про тех, кому приходилось отказывать, чьи слезные просьбы случалось отклонять ежедневно. Тем более, что среди отклоненных попадались и те, кому законы сильно и не препятствовали увеличить кусочек от общественного пирога. Те, кому приходилось отказывать, обижались, гневались, переходили на крик и на личности, сморкание в платочки и небезобидные жестикюляции, нередко с костыликом в еще мозолистой руке.

Что ж вы думаете, после этого разве не испортится настроение, не заболит душа и не ляжет морщина на и без того не слишком гладкий лоб? А если принимать все обиды просителей, весь их энергетический негатив на себя, на всю собственную нервную сеть, или, как любят утверждать на Востоке, на всю свою ауру, тогда что получится-то: десяток лет работы на износ и подыскивай место в психоневрологическом учреждении закрытого типа.

Конечно, можно превратить себя в бесчувственный камень, в непроницаемого чинушу, в «зайдите завтра», но это недостойно, это не в характере Василия Павловича. И он с годами, конечно, постепенно, двигаясь методом проб и ошибок, выработал свой собственный прием задушевных бесед с проблемными посетителями. И чем напористее и агрессивнее попадались просители, тем настойчивее, дольше и скрупулезней интересовался у таковых Василий Павлович жизнью и здоровьем жен, мужей, детей, отцов и матерей, если таковые имелись, состоянием личного подворья, автомобиля и урожайностью картофельных грядок, если все это имелось у все еще настойчивого просителя. Также непременно интересовался Василий Павлович уловами рыбы, результатами сбора грибов, заготовкой боярышника, чабреца или еще какой-нибудь полезной для здоровья «зеленой аптеки». Сам Василий Павлович, будучи человеком основательным, презирал легкомыслие ловли рыбы, пальбу охотничьей гурьбой по зайчикам и уточкам, а шататься по лесу в поисках грибов и вовсе полагал делом, близким к недостойному, приравненному, например, к неспровоцированному распутству.

Отдельную тему, наиболее разработанную и выверенную, составляли расспросы о здоровье посетителя. О! Это было песней Василия Павловича, его любимой стихией. Он умел так досконально выведать все тонкости симптомов, особенностей течения болезни и поставить настолько выверенный диагноз, что куда там нашим совершенно подотставшим и подуставшим докторам! А, главное, все это действовало безошибочно и безотказно. Да и кто ж у нас не болен? Разве сыщешь такового на бескрайних просторах России? Нет, не сыщешь. Нечего и искать без толку. Почти уже и не осталось тех, кто в ответ на вопрос: «Как дела?» вдруг возьмет и скажет тебе: «Слава Богу, хорошо». Большинство же махнут рукой, если некогда постоять, а если не торопятся, то спина заболит и отсохнет, пока вы-

слушаешь обо всех невзгодах и болезнях того, с кем и требовалось-то всего лишь поздороваться.

Общаться за столом, в своем кабинете гораздо удобнее – спина не заболит, ноги не замерзнут, а часы напротив двигают стрелки к концу твоего очередного рабочего подвига. Удобно еще и то, что часть из пришедших на прием, заглянув в кабинет пяток раз, плюнет, да и уйдет, тихонько матерясь на всю бюрократию страны вместе взятую. В таком разговоре Василий Павлович имел все шансы расположить к себе просителя и разоружить его так, что тот отказ воспринимал лучше, чем согласие, и так тряс на прощание руку и благодарил отказавшего, что стоящие еще за дверью невольно проникались уважением к чуткому чиновнику и наострялись уже думать, что и отказ бывает исключительно полезным.

Как-то позднеосенним днем Василий Павлович Высокий находился на своем рабочем месте за столом, с аккуратными стопками бумаги формата А4. По стеклу тоскливо и однообразно ползли дождевые капельки, на подоконнике, лежа на спине, брыкались всеми лапками никак не могущие окончательно заснуть мухи, а береза за стеклом у гаража гнулась и трепетала своими редкими листочками под порывами ветра. И было даже досадно Василию Павловичу оттого, что все листочки в положенное время отвалились и смиренхонько лежали себе в грязи под деревом, а эти теперь своим трепетанием хотели вызвать в окружающих жалость, сочувствие и неловкость от невозможности помочь им не ляпнуться в грязь своим благородно седым окрасом.

Пробивало на зевоту, на воспоминания о шалостях молодых лет, упущенных возможностях и нереализованных способностях. Отчего-то вспоминалось вдруг такое, что казалось забытым прочно и навсегда. Хотелось мечтать и грезить, быть милосердным, значительным и молодым. Одновременно хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел и посочувствовал, что в реальности ты уже не так молод и все

еще не так значителен. Потянуло сходить в соседний кабинет, встряхнуться физически и морально: уж больно заливиисто хохотали за стенкой молодые коллеги-чиновницы.

Уже в дверях Высокий столкнулся с Иваном Григорьевичем Хачуриным – своим соседом по улице. Тот успел сунуть руку для ее пожатия и занять своей фигурой часть дверного проема. Делать нечего: пришлось Василию Павловичу вернуться на рабочее место.

– Ты что это, уходишь куда? – вежливо и разочарованно поинтересовался Иван Григорьевич. – А я хотел с тобой тет-а-тет посоветоваться по одному хорошему делу.

– Нет-нет, ничего. Ничего страшного. Ничего страшного, Иван Григорьевич. Садись. Присаживайся, вот, на стул. Садись, дорогой. Раздевайся, если надо, – подчеркнуто культурно суеился Василий Павлович. – Садись, садись. Нечего стоять, настоялся в свое время. Садись, сосед. Я слушаю тебя очень внимательно.

– Да, вот что, Василь Палыч. Не знаю даже, с чего и начать. Что-то лежал вот сегодня ночью. Все думал, думал... Эх, вспоминал, вспоминал... Эх... Получается, пока работали как волы – нужны всем были, а теперь никому мы и не нужны. Ни-ко-му, – к чему-то клонил сосед по улице.

– Тебе-то до пенсии еще далеко, а тут иной раз подумаешь, подумаешь и зачем только жил? Зачем терпужил днем и ночью? Зачем как вол пахал, жилы последние рвал? Эх... и не знаю. Подумал утром: «Схожу-ка к Василь Палычу, к соседу моему. Может, что посоветует мне как сосед хорошему соседу. Авось, думаю, по лбу не вдарит, пинка под зад не даст заслуженному человеку».

Вступительная речь соседа явно грозила перерасти в репортаж ни о чем, и Василий Павлович решил придать ей хоть какую-то смысловую определенность:

– Иван Григорьевич, уважаемый, ну ты безо всякого можешь напрямую изложить устно любую свою просьбу.

Вместе подумаем, покумекаем, поищем, так сказать, основания...

– Да что говорить? – перебил раздосадованный сосед. – Что сказать, Василь Палыч, дорогой? Положение мое ты знаешь. Знаешь: живу один без бабки. Теперь вот скоро уже почти пять годов отлежала. Царствие ей небесное. Сын – тоже знаешь, где. По собственной, из-за дружков своих, дури. Они гуляют-пьют, а он за них парится теперь. А дочь... Дочь и заходит, и спрашивает, что, где, как... Внуки и те, и другие заходят. Дам им когда сотенку, а когда и поменьше... Эх-х-хе... Василь Палыч. А так-то один со своими думками. Один. И все время вспоминается, как, где да с кем терпужили. Много делов-то, мно-го переворочили! Рассказал бы кому, не поверили б.

Нащупав паузу в речи, Василий Павлович решил брать инициативу на себя, вклинился и энергично возражал:

– Нет-нет. Не скажи. Не скажи, сосед. Я с тобой тут, извиняй, но не согласен. Как это так, «кому это нужно»? Твой-то опыт что партийной работы, что по профсоюзной линии, что другой какой деятельности да никому не нужен? Не-ет. Это ты зря на себя только наговариваешь.

– Да ничего не зря. Какое там зря? О чем говорить-то, дорогой Василь Палыч, сосед мой хороший? Время теперь другое. Совсем другое. Всем подавай комфорт и блага, да денег побольше и покрупнее, а работать никто не хочет. Никому это не надо – дураков нет. А мы что там? Мы-то, помнишь: с темного до темного – день и ночь. А в войну как работали! А? Я с четырнадцати лет прицепщиком. Даже с двенадцати, считай, уже всю работу. А на волах, как хлеб в элеватор возили черт-те куда. Эх... помню, волки на степи перевстрели... Ух и страху было, думал, помру со страху. Хорошо, что лошадь умная попалась, а то бы рванула, упал бы – разорвали в клочья. А ничего и удивительного. Случаи-то такие по району бывали.

– Да-да, Иван Григорьевич, – поспешил согласиться Василий Павлович. – Тут ты прав. Так, как вы работали, мы теперь не умеем. А наши дети и совсем к труду не приучены. Но я что хочу сказать? Мы сами виноваты, что не приучаем их, не передаем былые традиции. Ты, небось, с твоим опытом ни разу в школе не был?

– Да, какое там, – поморщился собеседник. – Кому это нынче нужно? Они сами учителя и те не хотят, чтобы мы туда ходили. История-то теперь у них какая? Раньше мы знали и сталинскую конституцию, и сталинские удары по врагу, и стахановцев всех наперечет. А теперь, кто такой Ленин, никто не скажет тебе. Теперь у них «белые» оказались лучше «красных», а кто больше всех нахапал, тот и молодец – жить, значит, умеет.

Чувствуя потребность собеседника выговориться, Василий Павлович расслабился и решил дать совет:

– А ты бы, Иван Григорьевич, взялся писать мемуары или какие-нибудь воспоминания. Вон как наши артисты пишут теперь почти все. Описал бы свою трудовую биографию – лучше любого сериала получилось бы. Обрыдались бы все, я тебе точно говорю...

– Это уж твоя правда, сосед. Столько всего пережило, сколько пройдено. Столько делов наворочено. Бывало, позовет к себе секретарь райкома. Ты-то его уже не захватил – Василия Антоныча-то. Мужик-то хороший был, простой, но только больно горячий. Горячий, прямо нет спасу никакого. Зовет, помню, меня к себе в кабинет свой. Делать нечего, иду. Валенцы там, в коридорчике обтряхнул венчиком, причесался перед трюмом как положено, все чин чинком – «под зад пинчином». Как теперь помню, суббота была. Постучался, зашел, а сам боюсь, молодой совсем. Мне и было-то тогда двадцать девять годов. Нет, должно быть, двадцать восемь. В кабинете накурено, мать моя баба – хоть топор вешай. Не продыхнуть. Он, Василь

Антоныч, курил страсть как – одну от другой прикуривал. А кабинетик у него такой небольшой был, не как теперь, даже вот помене твое. Подошел, значит, поближе. Он поздоровался за руку. Смотрю, вроде ничего, вроде веселый. И спрашивает так: «Это что у тебя надои, товарищ Хачурин, меньше козых упали? А? Ты почему это «валовкой» не занимаешься совсем?» А когда мне следить-то за ней, я и парторгом-то всего как неделю назначен. Ну и говорю ему, поясняя так культурно: «Да я, Василь Антоныч, только неделю работаю на посту. Я еще не успел...» К-как он взвьется, как заорет ни с того ни с сего, как будто ему шилом ширнули: «А-а-а. Да ты, оказывается, даже и не успел! Даже и не удосужился? Мы тебе доверили ответственный пост, райком тебя поддержал, а ты, вижу, жить легко наострился!»

Иван Григорьевич говорил и старательно гримасничал, стремясь передать мимику, жесты и голос вспльщивого секретаря, и даже перешел почти на крик:

– Да я говорю ему: «Я еще не совсем вник...» Как он заорал еще дюже: «А-а-а. Да ты еще и не совсем вник, оказывается! Пришел тут, стоишь, расписываешься в собственном бессилии». Подскочил ко мне и ка-ак даст мне кулаком в ухо. Мать родная, батюшки мои, ажник все везде, все зазвенело.

«Еще дать? – спрашивает. – Иль уже так понял?» – «Понял, понял, Василь Антоныч. Понял все очень хорошо. Спасибо. Спасибо, что хорошо объяснили. Очень доходчиво, по-отечески, без бюрократии». – «Ну, а раз понял, – говорит мне, – ступай и работай!» Вышел я из кабинета, шапку в охапку, да скорей в колхоз, скорей работать над удоями, будь они неладны. Вот это мне была первая наука, как правильно нужно докладывать начальству об отдельных недостатках. Вот как тогда работали. Вот как отвечали по всей строгости. А теперь что? Каждого засранца уго-

варивают и ублажают, советы ему советуют, а он ничего делать не хочет и наказать сроду его не могли.

– Иль вот покойный Николай Васильевич мне рассказывал, – продолжал воспоминания Хачурин. – Ты помнишь его? Ну, на подстанции на нашей работал. На районной, помнишь? Жена его с Хрыкиным путалась? Их в посадках вдвоем застали. Не помнишь, что ль. Да на бюро даже разбирали, – удивлялся и готов был разочароваться в Высоком как слушателе Хачурин. – Да дочь его завмагом «на бугре» работала, за растрату ее судить еще хотели, а потом за взятку дело закрыли...

Василий Павлович на всякий случай кивнул в знак согласия, а Иван Григорьевич хоть и не поверил, что тот вспомнил, но продолжал – ему важно было досказать начатое:

– Вот, он мне сам рассказывал, покойный, как поступило указание свыше, значит, окультурировать всем свои территории. За культуру Василь Антоныч всегда строго спрашивал, хотя сам, по совести сказать, не сильно ее придерживался. Вечно курил, тут же плевался под стол, мог любым матом обложить кого ни попадя, не глядя, кто перед ним, женщина или пацан какой. Ну, вот он мне и рассказывал, как один раз приехал к нему «Первый» и спросил так, с подходцем: «Ну, рассказывай, как ты тут окультуриваешься? Как порядок кругом наводишь?» Ну, и Николай Васильевич, конечно, начал объяснять, где они что прибрали, где клумбочки-цветочки какие думают сажать и все такое прочее. А Василь Антоныч говорит ему: «Ну, это все ты хорошо мне тут нарисовал, складно рассказал, как батюшка в церкви. Садись теперь вон в мой «УАЗик», проедем кой-куда».

Тот, конечно, сел, а сам не поймет, куда надо ехать и зачем. Сели, значит. Сам Василь Антоныч за рулем, отъехали метров десять, и «Первый» остановился прямо посреди огромной лужи около въезда на подстанцию. Там раньше была такая лужища, в ней утки всегда плавали. Василь Антоныч вышел из машины. Ему-то что? Он всегда в яловых сапогах ходил,

он их и не снимал никогда, а Николай Васильевич вынужден был в своих ботиночках прямо в глубокую грязь становиться. Василь Антоныч как бы этого и не заметил специально. Постояли, поговорили ни о чем, и секретарь уехал. А на следующий день Николай Васильевич бросил все свои провода и лампочки, поставил людей, выпросил в автоколонне пару «ЗИЛов» и щебень и засыпал всю эту лужу, хе-хе. Во-от как работали! – подняв указательный палец, восхищался произведенным впечатлением рассказчик.

– Вот какая ответственность была, а ныне что? На сессии соберутся, сидят, решают-решают, а в конце напишут «рекомендовать». Что это значит – рекомендовать? Надо приказывать и спрашивать строго, а не рекомендовать. Помню, на сессиях докладчики в наше время в обморок падали, откачивали нашатырем, – почти закончил Хачурин, но потом добавил веско: – Помню, Романыча «чистили» за падеж свиноматок в «Советской России». Тот стоял-стоял, отбивался, как мог, весь потный, бледный, как перед расстрелом, а потом как долбанется навзничь, аж очки на ём подпрыгнули. Сознание от волнения потерял, хоть и не мальчик уже был. Вот это спрос! Хотя по совести разобраться, в тот раз он и не виноват был. Совсем не виноват. Это председателя убивать надо было за брехню и приписки, но тот же с «Первым» темными дружками были. Семьями дружили. А как своего тронешь-то? Вот и отыгрались на Романыче.

– Да, дисциплина нужна была. Нужна. Без нее русскому человеку никак нельзя. А то щас... Сталина заплевали совсем. А кто войну-то выиграл? Кто разруху восстановил и ядерную бомбу создал? Помню, мы пацанами еще были, когда он уже помер. Ну и хоронили. Слезми, помню, заливались, все до одного, занятия в школе остановили, думали, все, теперь война и голод опять начнутся. Привыкли к строгости и порядку при нем. Мы-то уже шестиклассниками были, кой-кто уже работал наравне со взрослыми.

И вот, помню, согнали всех перед школой на траурный митинг. Сталин-то в марте скончался. Холодно еще было, снег возле школы лежал. Почетный караул с повязками поставили, портрет от директора принесли, выступлений было много: директор школы, парторг, от РОНО, от профкома, от старших классов, от общественности. Рядом со мной Васька Шатилов стоял, с ноги на ногу мялся, в туалет по маленькому ему сильно приспичило, а как тут уйдешь? Нельзя в туалет. Стой-терпи. Вот он, бедняга, под конец и не утерпел и надул, как стоял, прямо в штаны. После этого его так до самой армии ссыкуном все и дразнили. Вот, уважаемый Василь Палыч, порядок какой был! А щас тебе любой школьник на замечание так отбреет, будь здоров, а ты говоришь, надо в школу ходить. Сами учителя и те уже запутались, не знают, что делать и как учить.

– Помнишь, учительница по химии была у нас Анна Макаровна? – уточнял Хачурин. – А? Не помнишь? Ты ее не захватил уже? Ну, зря. Вот учительница была, не баба, а фельфебель в юбке. Бывало, построит всех нас у доски, пройдет строго и обнюхает каждого, не постесняется. Она это любила. У нас почти все уже курили. Чтоб запах отбить, заедали мы его чесноком и даже полыном. Заедай не заедай, а она все равно учует. Раз заставила всех карманы вывернуть, а у Петьки Чермашенцева целая горсть табаку осталась. Стоит, бедный, покраснел весь, вспотел, чуть не плачет. Так что ж ты думаешь, Анна Макаровна заставила его съесть махорку перед всем классом. Тот, бедный, весь надулся, покраснел, стыдно перед классом, но засыпал всю махорку в рот и сжевал – аж слезы из глаз. Вот как воспитывали в наше время! Не то, что нынче. Умели отучать от дурных привычек.

– Это ты про какого Петьку рассказываешь, сосед? Шофером, что ль, который работал в кооперации? Какой потом на яблоне повесился. Да? Но он же, по-моему, дымил, как паровоз, – простодушно вспомнилось Высокому.

– Да про него я и говорю. Но он хоть и курил дальше, а ведь с ним боролись, не были равнодушными к его судьбе, как нынче в наших школах. Глянешь, выйдут теперь на крыльцо, путем от школы не отойдут, а уже прикуривают. У каждого по зажигалке, и, что характерно, никто никаких замечаний не делает. Не жизнь, а малина пошла, – возмущался Хачурин.

Василий Павлович не медля согласился с соседом и добавил, что тоже помнит, как на них, на подростков по вечерам учителя облавы устраивали, когда те в клуб на взрослые сеансы пробивались. Рассказал, как смотрел какую-то кинокартину, лежа прямо на полу в переднем ряду, чтобы сзади не увидали и не прогнали. А кино тогда крутили какое-то иностранное, индийское. Счастья было, конечно, выше крыши. Рассказал, как на другой день в школе Высокий всем хвалился, что ловко обхитрил учителей.

Василий Павлович с Иваном Григорьевичем немного помолчали, посмотрели вместе в окно на сироту-березу, повздыхали об ушедшем хорошем времени.

– Осень в этом году – ужас какой-то. То без дождей, то залило все, грязь надоела, – обреченно уронил Иван Григорьевич.

– Да, – тихо подтвердил Василий Павлович. – Осень ни к черту в этом году. Посмотрим, какая еще зима будет. По прогнозу и зима не лучше.

Хачурин молча и печально сунул руку для прощания. Высокий проводил его до двери кабинета, так и не узнав, с какой личной нуждой приходил к нему ветеран некогда ответственного труда.



ОТДОХНУЛИ

Современные жизненные удобства, изнеженность комфорта в соединении с нетрудной работой и массой приятных соблазнов все более нивелируют различие полов и разницу между мужчиной и женщиной. Появилась путаница, образуется какой-то, прости, Господи, средний род. Ни одежда, ни прическа, ни род занятий, ни поведение, ни отношение к спиртному и курению ничем не выделяют теперь определенность пола. Но вдруг от чего-то мужчина очнется, ударится своей генетической памятью о косяк вековой эволюции, вспомнит о своем значении и его непреодолимо потянет стать добытчиком, воином, жестким и бескомпромиссным варваром. И тогда он запросит оружие, доспехи и честный бой с диким зверьем. Оружия и доспехов в наше время навалом, да еще такого, что и у мухи нет шансов уцелеть, коли откроют охоту и на нее. Оружия навалом, а вот диких вепрей и особенно вольных мест, где можно пострелять без неприятностей и критичного ущерба для кошелька и репутации, почти не осталось.

Трое суток отпуска Павла Провоторова прошли в полном безделье. На четвертый день приснилась ему под утро залитая светом дедова изба в деревне, омет сена и ярко-перламутровая зелень повсюду. Сон тронул его романтические струны, толкнул к неосознанному действию. Для начала понес он ведро с мусором на мусорку и встретил там Генку Овсянникова – одноклассника и заядлого на всю округу охотника. Не виделись и не помнили друг о друге они уже изрядно. Наверстывая упущенное, у му-

сорного контейнера однокашники исповедовались самым сокровенным. Генка с тоской открылся, будто жизнь его уже утратила смысл:

– Представляешь, за все лето ни разу не то что на речке, а и в пруду не искупался. Все дела и дела какие-то. Все заботы, а вспомнить, на что все лето ушло, так и не получится. Сезон охотничий уже больше месяца, а я даже ружья в руках не держал. Это что – жизнь разве?

Павел в той же тональности поддакнул:

– Делов куча, а тоже ничего не хочу. Насточертело все до жути. Даже выпить и то не тянет. Работа – дом, дом – работа. Три дня в отпуске, а уже хоть на работу выходи, слоняюсь по двору, сплю да жру от нечего делать... Приснилась дедова хата в Гороховке, вспомнил, как пацаном с ним на рыбалку ходили, как дед с берданки своей давал стрельнуть. Такой кайф тогда был!

Генка поставил пустое ведро наземь, достал сигареты, закурил и рассеянно поинтересовался:

– А что дед-то твой или все охотится? Гороховка, говоришь? Там места-то, мне говорили, глухие. Почти все разъехались кто куда, спились или померли безо времени, а куст-то еще не весь вырубил?

Павел обиделся на приговор-наговор бедной деревеньке и запротестовал:

– Почему это все? Почему вырубил? Да он, наоборот, еще больше разросся. Зайцы бегают по садам, яблоням кору портят. Там жилых, правда, может, домов с десять осталось. Дед вон один без бабки сколько уже живет, а переехать и не думает. Места красивые, хоть картины какие пиши.

Генка посуровел лицом:

– Говоришь, зайцы по деревне бегают? А, может, стегнули бы туда с ружьишками? А? Развеелись, от баб отдохнули бы своих, а они от нас. Я отгул возьму. Мне авось дадут.

Провоторов загорелся, засомневался и загорелся снова, удивляясь, как это и сам до этого полезного дела не додумался:

– Да запросто, но нужно с ночевкой. Пока соберемся, то да се, дни короткие: ни выпить, ни закусить.

Исполнили замысел без лишних обсуждений и к сумеркам остановили сиреневую «Ниву» в забытой богом Гороховке перед старым домом деда Федора. А тот будто ждал их: встретил у калитки, разулыбался, засуетился, вытер клеенку на столе, полез в погреб за огурцами с капустой, достал из шкафа поллитровку самогонки, разогрел картошку жареную с лучком, нарезал хлеба и сала, поставил в ковшике вареные яйца.

Мужчины от такой идиллии натурпродуктов стали слюной исходить. Дед Федор, не склонный к длинным речам, поднял свой граненый и хрипло изрек:

– За встречу. Ну, тяните, мужики.

Городские, пока не развезло, пояснили цель своего неожиданного визита, спросили, есть ли поблизости хоть какая живность.

Дед не спеша пошамкал капусту и невозмутимо рассудил:

– А почему ж нет? Есть коты да собаки совсем дикие. Да гуси у Дуськи вон за цельную версту от дома ходят. Из таких ружей, как у вас, одним залпом косяк набьете. Сам-то я на охоте, как бабку схоронил, не был ни разу. Но приезжают какие-то чужие, шляются с собаками, стреляют в кусту. Вроде зайцев или утей каких. Может, и ворон. Черт их там знает. Я в своем доме ничего не вижу. А вы выпивайте пока. Завтра с утра можно по морозцу поглядеть по следам.

Выпили дедово, достали свое, посмотрели хоккей по телевизору, программу «Время», покурили, поговорили расслабленно ни о чем. Дед подтопил хорошими березовыми

дровами, подсыпал «горюну». В жарком климате всех и сморило.

Пробудились гости от холода и стука дужки о железное ведро. Дед выгребал золу из печки и заново жег дрова. Городские сбегали по быстрой надобности во двор, оценили морозец, умылись над цинковым тазом, попили чаю, одели меховые комбезы с белой маскировкой.

Дед Федор предложил употребить по стопочке, но Генка Овсянников категорично отказался:

– Не-не. У меня принцип. Перед охотой ни-ни. Без обид. После – это пожалуйста со всем удовольствием.

Паше досталось поддержать родного деда. Они пропустили по два стакашка. Покурили. Дед хлопнул себя по коленке и объявил:

– Отправляюсь-ка и я с вами. Промнусь маненько и Воронка взбодрю, а то застоялся без дела. Вся польза – один навоз от его.

Дед надел овчинный полушубок, ношеную армейскую шапку, высокие валенки и меховые рукавицы. Воронка – старый грязнопузый коняка явно не понимал, для какой модели хозяин вывел его из теплого сарая на мороз. Дед не спеша нацепил уздечку, закрепил седло и со ступеньки крыльца взгромоздился сам, выпрямил спину на манер лихого конника, воткнул валенки в стремяна, потянул поводья. Павел весело подхвалил ветерана:

– Ну, ты, дед, прямо как индеец, ей-богу. Тебе бы не берданку, а лук со стрелами. Прямо вождь местных бледнолицых.

Дед отвернул Воронка и нарочито деловито распорядился:

– Езжайте за мною. В низину лучше не совайтесь. Там снег глубокий. Засядете, за трактором идти шесть км. У куста я направо подамся, а вы наверх, левее берите. Там зайчики бывают.

Отправились в сторону огромного густого куста, поросшего своими краями бурьяном, осиной, шиповником и сизым американским кленом. Подъехали насколько смогли, остановились, зарядили ружья, двинули пешком. Следы заячьи обнаружили не сразу и те явно припорошенные. Павел пошел, огибая куст, а Геннадий решил проверить небольшую лошину поодаль. Только они снова сошлись – и вот удача, упитанный русак рванул от поросли в поле метрах в пяти. Пашка бабахнул ему вдогонку почти одновременно из обоих стволов. Промахнуться было сложно. Начало получилось совсем не плохим. Решили от куста уйти в поле к черневшей вдаль лесополосе. Через час и Овсянников подстрелил «своего» зайчика. Охота явно удалась. Двинули низиной к оставленной «Ниве». Сделалось пасмурно, и мороз вроде чуть прибавил. Вспомнили про деда Федора. Павел авторитетно предположил:

– У него и патрон-то один всего. Мерины своего прогулял, сам кости размял, теперь небось уже дома, наш индеец. Курей кормит.

Возвращались по старому следу. Ближе к деревне обнаружился Воронок. Он плелся наперерез, но один, без седока. В его стремях нелепо торчали валенки дяди Федора. Друзья разом разинули рты:

– А сам дед-то где?

Картина выглядела смешной, но не веселой. Спешно повернули назад по следам Воронка. Старый мерин оставил снеговые борозды через огороды брошенных усадеб и заросли одичавших садов, ехать по его следу не получилось. Оставили «Ниву», ринулись пешком. В километре от куста им навстречу показался дед Федор. Он возмущенно и громко матерился. На его ногах как-то держались его же рукавицы. Дед увидел охотников и запричитал еще громче:

– Мать их-ху так. Охотники хреновы, нашлись на мою голову. Палят почему зря, без разбору, как на пылигоне. А

чаво палить-то, спрашивается? И этот... тварь дикой, тоже рванул, как бешеный. В такую свечку с испугу встал. И чаво палить-то с лошадьми рядом? Это вам не в городе вашем. Не в тире, небось, по банкам с дури ума лупить.

Злого и разобиженного деда Федора подвели к машине, на полную включили печку, подвезли к дому, где уже у стога понуро ждал своего хозяина Воронок. Дед от обиды съездил разок коню по скуле, но не сильно, а больше для порядка. Воронок и не обиделся, только мордой мотнул с пониманием остроты ситуации.

Потом охотники сытно и сосредоточенно обедали. Дед понемногу успокоился, и городские приятели потихоньку несколько раз неэтично хихикнули, вспоминая валенки деда Федора в стремях Воронка. Дедушка выпил три стопки вместе с внучком, поскреб серую щетину на подбородке и неожиданно заключил:

– Хорошо эт, я нынче поохотился с вами, старый дурак. Опять же башка и ребры хотя б целы... Вот вам индеец, бориген, мать иху... местный. – Засмеялся дед малозубым ртом молодо, искристо и залиvisto, закачался на табуретке, завертел головой и замахал руками. Внучок и Генка тоже гнулись к столу и в стороны: хохотали без перерыва до слез, даже пропотели.

Мужчины поновили свой мужской статус. Им теперь было хорошо и спокойно.





РЕЧЬ

Накануне праздника работников сельского хозяйства в акционерном обществе «Путь к достатку» определяли лучших работников. Задача оказалась не из простых. Пресловутый плюрализм мнений никак не давал назначить лучшими тех, кого таковыми видел генеральный директор акционерного общества. В разговорах не раз звучали фразы «достойные из достойных», «надо отдать должное», «не покладая рук» и «маяк производства», но дело двигалось медленно. Разгоряченная председатель профкома даже употребила слово «номинация», но все посмотрели на нее долго и осуждающе по типу: «Говорить-то говори, да не заговаривайся», председатель замолкла, заметно покраснев. Дальше лучших выбирали просто, по направлениям их производственных усилий.

Когда все направления были разобраны и определили-таки лучшего дояра, лучшую телятницу, лучшего механизатора, лучшего агронома, лучшего скотника и всех остальных лучших, директор предложил добавить еще и направление «Лучший водитель». Все удивились, поскольку каких-то полчаса назад уже определили кандидатуру на звание «Лучший шофер». Но директор объяснил: «Я предлагаю на эту роль моего водителя Володю Нешкова. И объясню всем почему...» Далее директор напомнил всем, что его водитель – «человек честный, порядочный и скромный», «давно возит начальство», «ни разу его не подводил ни в больших делах, ни в малых». В конце краткого пояснения всем стало ясно, что Нешков не был ни разу в жизни поощрен ни за скромность, ни за порядочность, ни за какие другие качества, и все дружно поддержали порыв директорской души.

На следующий день на общем собрании чествовали передовиков, хвалили их за добросовестный труд и призывали остальных равняться «на маяков производства». В фойе сельского клуба уже стояли столы, полные вкусной едой, откупоренным заранее спиртным и деликатесами в виде винограда, мандаринов и пушистых персиков. Уже к директору подходила старшая повариха Люся и, наклонившись к сидящему руководителю, в очередной раз предъявляла ему свои тяжелые, объемные белые прелести, попутно докладывая, что осталось поднести из столовой только толченую картошку. Без горячей толченой картошки в наших селах ни праздновать, ни поминать как-то не принято. Директор, сосредоточенный на ее объемах, рассеянно кивал, что могло означать, что надо закругляться с речами и двигаться ближе к столам. По такому сценарию проходили и прежние мероприятия.

На сцену позвали последнего по списку награждаемых – Владимира Кузьмича Нешкова. Он неуверенно поднимался по деревянному порожку на деревянных же ногах. Намедни, вечером Кузьмич случайно узнал о том, что его

будут чествовать впервые в жизни, очень взволновался от этого, не смог заснуть, считай, всю ночь вспоминал свою жизнь сельскую и даже военную службу на Волге в большом городе Горьком. Утром со старшим сыном выпил для храбрости, одел единственный красивый свитер с глаженными брюками и вот теперь, прямой и строгий, поднимался на всеобщее людское обозрение.

Ведущая праздника – завклуб Люба поднесла ему запечатанную коробку, на которой был нарисован какой-то кухонный агрегат, и подала этот подарок, кокетливо улыбаясь и привычно виляя задом. В зале раздались дружные хлопки односельчан. Нешков видел сверху веселые лица людей и решился сказать несколько слов в качестве благодарности. Сильно смущаясь и оглаживая по бокам свитер, совсем не своим голосом, он сказал как-то совсем постариковски: «Я хочу сказать слова «спасибо» за подарок в мою пользу, а также поздравить приглашенных на собрание». То ли от чрезмерной зажатости, то ли, наоборот, от расслабления после выпитого, но не исключено, что от того и другого одновременно, но Владимир Кузьмич не сошел со сцены, а продолжил говорить:

– Должен сказать здесь «спасибо» моей матери-покойнице. Вы ее все знаете. Она родила меня и всех нас, девятих, нянчила, устроила вначале в ФЗУ, а потом в армию, а потом оженала меня, как положено. Она, покойница, была строгая, как чуть, что так, мокрой тряпкой вдоль спины. Но работяга была редкая. Терпужила и день и ночь. Через того и померла рано. Надо здесь буду сказать благодарность и отцу-покойнику. Хоть он и пил помногу, но кузнец был редкостный. Из-за этого ему окалина глаз выбила и не забрали на войну. Отец дом построил наспроть магазина.

Чем дальше продолжалась импровизированная речь Нешкова, тем увереннее он становился и уже сам видел смысл донести до людей то, о чем никогда не помышлял рассказывать даже в тесной подгулявшей компании, а не

то что перед всеми. Он смотрел в зал, но как бы не видел перед собой никого конкретно. Лица сливались в единый ковер глаз любопытствующих, недоверчивых и удивленных от того, что заговорил самый немой из них. Это вдохновляло его, и Нешков продолжал:

– Дом был крыт соломой и потом от молоньи сгорел. Ничего не спасли. Но это ладно. А еще хочу сказать «спасибо» моему старшему брату Леониду. Он сейчас парализованный живет. Он – братец мой, меня и бил, и разуму научал, и спас мене, когда я на нашем пруду чуть не утоп. Он, Леонид-то, мне много добра сделал, а теперь вот сам весь больной и негодный, всего на три года старше меня.

Владимир Кузьмич замолчал, но было видно, что он продолжит. Седоволосый ветеран будто бы решался на что-то более существенное. Как прыгун в высоту он уже победил всех соперников, взял свою планку и теперь готов был на побитие мирового рекорда:

– Я хочу сказать благодарность супружнице своей Елене Петровне. Без нее я давно пропал бы и когда пил запойно, и когда почку отняли. И вообще, я считаю, она много сделала хорошего для меня и своей семьи. Перво-наперво, имеется в виду, что она родила шестерых детей. Трех уже нету, царствие небесное. Володька – сын последний разбился в прошлом году перед самой, считай, армией... Вы это все... его хоронили... А так, она всех подняла на ноги, всем дала образование... Две дочери в Липецке, хорошо устроились, имеют работу и всем обеспечены. Каждый год на Пасху приезжают, ходим на кладбище, поминают там свою мать. И я ее, мою сердешную, поминаю, можно сказать, каждый божий день. Мало, она, конечно, пожила, а горей пережила много.

В зале поняли, что Нешков преодолел некий очень важный барьер, исполнил давно задуманную миссию перед собственной совестью и памятью о своей покойной жене, с которой прожил, как теперь ему казалось, счастливо и в согласии почти сорок лет. Так вместе с ним считали и все

мужики, сидевшие в клубе, к месту забыв о том, как он уходил из семьи, как в пьяных припадках гонялся за ней с ножом и обзывал самыми обидными и гнусными словами, как бил ее в ухо и по спине. У мужчин память на этот счет короткая. К тому же многие знают, что жен в селах бьют не всегда оттого, что скучно или что плохо к ним относятся, а оттого, что все равно не могут сделать их счастливыми. В зале стало тише, чем до начала речи Нешкова. Удивленные люди, казалось, забыли, что их ждет самое главное – заработанная ими за год выпивка и закуска в их же честь. Слыша добровольную исповедь простого человека, многие внутренне желали ее продолжения, но никто не знал, для чего, а тем более, о чем. Но Владимир Кузьмич поставил на пол свой подарок, сделал шаг к краю сцены и вдруг продолжил:

– Никто здесь не сказал об нынешней жизни. Все хорошо, все хорошо, как попугай, все об одном и том же. А что хорошего-то? Чем уж так жизнь в колхозе хороша? То есть теперь уже не в колхозе. Чем она таким хороша-то? Работать стали еще хуже, пьянки, я считаю, стало больше, безобразий всяких у нас во сто раз больше. А сколько скотины было у нас! Вечером стадо гоню, еле дождешься, когда по мосту можно проехать. В каждом дворе голова, а то и две было. А теперь что? Молодежь не хочет рано вставать, косить-возить-сгребать, а старики уже не могут. И колхозной скотины, считай, и нет. Одни вон развалины в бурьянах, как после бомбежки. Баню растащили, силосную яму растащили, сепараторный пункт растащили. А какой был! Все было новое, все блестело. А какой мехдвор был, а? Одних колесных тракторов под тридцать штук и каждый год списывали технику, а взамен шла новая. А? Чем не жизнь была? С темного до темного в поле вкалывали, ни выходных, ни проходных и всем работы хватало, а теперь безработица кой у кого. Откудова она взялась, безработица? Я считаю, от лени и от бездельничья. Кругом одни больные да шальные. Глянешь, а он идет по улице, морда красная – хоть прикуривай,

а работать не может – группа у него. На шее у государства сидит и в ус не дуется. Рази ж так можно?

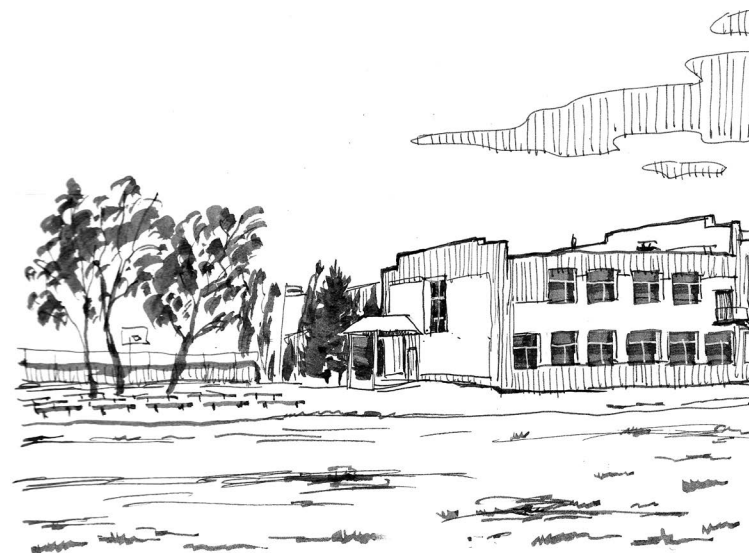
Из зала кто-то поддакнул: «Правильно говоришь. И таких у нас половина нахлебников. Больные, а как самогон пить – дай дороги. Лишь бы кто за них работал». Нешков испытывал настоящую эйфорию. Он сам был заморожен тем, как ясно излагал, как терпеливо его слушали, но уже собирался прервать свою речь, когда увидел, как к его шефу в президиум вновь подошла повариха Люська и, стоя задом к людям, стала бесцеремонно лепетать что-то про свою остывающую картошку. Обижало то, что она при всем честном народе бесстыдно выпячивает то, что следовало бы прятать. Но особенно обидела Нешкова расслышанная им фраза: «Нашелся тут оратор...» Это он-то оратор? Да он вовсе и не орал, говорил вполне тихо и никому не мешал, а если кому не нравится сказанное, то это его личное дело. А еще ему стало обидно за директора, который вначале присудил ему подарок, а потом не может расчихвостить как следует эту гулящую Люську. О том, что Люська гулящая, Нешков знал доподлинно, так как сам лично имел с ней как-то дело в логу за овцефермой. Но напирать Владимир Кузьмич не стал, да и зачем ему это, поэтому вполне мирно произнес: «Ну, если вы считаете, что мне пора замолчать, то я пошел...» Из зала крикнули: «Кузьмич, все правильно говоришь. А что толку-то? Все равно никто не услышит». И уже у самых ступеней Нешков остановился и продолжил:

– Не услышат сейчас. Да не больно слушали и раньше. А когда слушали, то еще хуже. Мово деда слышали: за то, что сталинскую конституцию назвал сталинской проституцией, загнали так, что и неизвестно, где помер. А отец на футболе поцапался с предом, а на другой день приказали у нас запахать огород, а на нем уже картошка цвела. Ни за что человек пострадал. За то, что свое спросил. За правду, можно сказать. Всю жизнь то трудодни недописывали, то получку урезали, то норму выработки завывали. Что толь-

ко не вытворяли с людьми! А сейчас хорошо – никого ни за что не ругают. Никого ни за что не сажают – говори, что хочешь, только кругом одни глухие. Никому ничего не надо стало. Всем только льготы подавай, группы и пенсию поболее. А раньше ее и совсем не давали и ничего, все молчали и были довольны. Каждый работал за семерых да думал, как бы из нашей грязи выбраться.

«Генеральный» решился-таки прервать своего водителя и, обратившись к залу со своего места, сказал: «Давайте, товарищи, наверное, прекращать эти дебаты. Всем давно пора за столы. А после можно и поговорить». Народ не противился, дружно задвигал стульями, загомонил, потянулся к выходу. Мужики, опустив головы, доставали из карманов сигаретные пачки, грустные женщины пропускали их вперед. Хорошее настроение народа сменилось досадой и пессимизмом. Никто даже не посмотрел в сторону веселого гармониста Витьку-«косого», который с места в карьер рванул «Цыганочку». Если был прав Нешков, а по всему выходило, что он прав, то хорошо в их селе, оказывается, не жилось никому и никогда. Ни раньше, ни теперь.

Через пару недель директор акционерного общества намекнул Владимиру Кузьмичу на то, что ему стоит подумать об уходе на пенсию. Тот артачиться не стал. В шестьдесят пять лет чего ж артачиться, когда и молодым-то нет работы. Ушел водитель председательский по-тихому, как будто его и вовсе никогда не было. Никто по этому поводу никаких сплетен не распускал, не радовался и не расстраивался. Но в селе почему-то толковали, что правда, как и всегда, только себе во вред.



БЛИН!

У входа в магазин «Магнит» стояли две подруги лет, эдак, под двадцать. Одна стройная и белобрысая, а другая не очень и брюнетка. Они вели оживленную беседу. Мимо шли те, кому в «Магнит» не надо ни за чем, а те, кому нужны стиральные порошки и другие необходимости в домашних делах, бросали равнодушные взгляды и вынужденно огибали девиц, слыша обрывки эмоциональных фраз: «А я ему, короче, говорю, блин... А он такой, блин, весь обалдевший... А я ему говорю, завтра, говорю, поговорим...» – «Да ты че? Прямо так и сказала? Ну, ты, смотрю, такая крута-я!»

Стройная имела вид слегка перезревшей девицы на выданье. Выставив вперед ногу в юбчонке с немыслимым разрезом, она слегка надменно и свысока стреляла раскра-

шенными глазами по всем сторонам и даже вдоль улицы. Ее подруга без голливудской внешности, но явно лучше одетая и с гораздо большим объемом груди смотрелась попроще, но тоже, как могла, демонстрировала самодостаточность и эксклюзивную крутизну натуры.

Дружеский, оживленный разговор подруг сопровождался наигранным смехом и веселой жестикуляцией. Чаше всего белобрысая девица всплескивала руками или резкими движениями поправляла низкую челку, составлявшую слишком явно основную фишку ее индивидуальности. А та, что была жгуче, крашеной брюнеткой, жестикулировала медленнее и только левой рукой, потому что на правой, согнутой висели ее сумочка в стразах и вязаный сиреневый жакет. Рука брюнетки в основном поднималась к левой стороне ее шеи, на которой синела «татушка» в виде маленькой ящерки, игриво вылезающей из-под воротничка ее блестящей блузки.

В очередной раз белобрысая красавица взмахнула нервными руками, ненароком зацепила свисающий жакет подруги, и тот некстати соскользнул на пыльный летний асфальт. Подруги, как по команде, одновременно ринулись поднять жакет и легонько тукнулись блестящими лбами. Так же, как по команде, они одновременно выпрямились и хором произнесли самое обязательное и употребительное из их лексикона слово «блин». Гласный звук у обеих иногда больше выходил на «я». Получалось скорее «блян», но всем слышавшим их разговор было ясно, что в реальности это блин, не имевший, впрочем, ни малейшего отношения к вкусной домашней стряпне.

Брюнетка импульсивно встряхнула жакет от пыли. Из ее кармана выпорхнул мобильный телефон и, ударившись об асфальт, распался на несколько составляющих. Обе подруги еще громче вскрикнули: «Ды, бли-ин!» Брюнетка порывисто подняла части телефона. При сем аккумулятор «мобильни-

ка» выскользнул и предательски провалился в углубление сквозь решетку для очистки обуви у двери «Магнита». На лице владелицы средства мобильной связи отобразилась нешуточная печать бесповоротно загубленной личной жизни. Лицо ее подруги, наоборот, на мгновение озарил свет радости, но она быстро исправилась, накинув маску вселенской скорби и сочувствия подруге. Обе с протягом и испуганным баском произнесли: «Бля-я-ян!» Крашеная блондинка, осуждающе зыркнув на подругу, добавила:

– Ну, ты, блин, прям как сумасшедшая!

Брюнетка в ответ громко возмутилась:

– А ты, блян, нет! Ты, блян, одна тут нормальная на весь город выискалась. Сама выбила из рук, а я ей, блян, еще ей и виноватая получилась!

Развития ссоры однако не произошло. Наоборот, обе девицы приняли логичное решение поднять тяжелую ребристую решетку и достать важную составляющую телефона. Но каждому ведь известно: одна беда никогда не приходит. В момент подъема решетки, когда она встала почти на ребро, дверь магазина резко распахнулась. Из торгового чрева с веселым криком: «Ну, ты, Ванек, козел!» выскочил розовощекий школьник средних классов, а за ним летел другой с явным намерением садануть приятеля по башке школьным рюкзаком. Массивная дверь магазина плотно лупанула по заднице брюнетки, и та, неуклюже взмахнув руками, рухнула на все так же пыльный асфальт. Боль от ссадины на колене и разорванные колготки нашли выход в рычании сквозь зубы: «Ва-ай, бля-ян».

Лишившись поддержки, блондинка разом уронила решетку и, по инерции шагнув вперед, наступила на нее же. Каблучки ее модельных туфелек предательски нырнули в щели решетки. Один из них тут же отделился от тоненькой подошвы. Блондинка мгновенно оценила масштабы произошедшей катастрофы и истерично взвизгнула:

– Да ты, че, блян, корова, натворила-то? Я за них семь тыщ отвалила. Как я теперь пойду-то? Плати мне теперь за них, как хочешь... Разлеглась тут, блян, как на пляже.

Брюнетка совсем не уловила последнюю фразу, почти не возмущалась на явное завышение стоимости туфель, но на обидную «корову» отреагировала молниеносно:

– Да ты, блян, охренела, блян, совсем, что ли? Из-за нее, блян, телефон мой новый разбился, а она еще вдобавок стоит и вякает тут про свои лапти говенные. Они в каждом шоппе по три пары за тыщу.

Конфликт взлетел до максимума, ибо давно подмечено, что разговор в третьем лице при живом еще индивидууме – обида выше всяких человеческих сил. Это же в переводе с русского на русский не что иное, как обращение ко всем порядочным людям города с утверждением бесспорной неадекватности оппонента.

– Ниче-го себе, блян, ты, блян, реально охамела. Я смотрю. Ты, блян, лохушка жирная, фильтруй базар-то гнилой, а то не посмотрю...

Договорить белобрысая не успела – тяжелая сумка ее лучшей подруги опустилась на ее ухоженную головку с необыкновенной челкой. Из сумочкиного нутра посыпались разные крайне необходимые женские штучки, поверх которых, плавноенько описав дугу, легла фотография неплохого качества. А на ее глянцевой поверхности, мама родная... на ней возлюбленный белобрысой красавицы самоуверенно, нагло и... и... пребывал в объятиях подруги-брюнетки на фоне известных фотообоев в ее же спальне. Это было замечательное селфи – удачное и достойное, чтобы носить такое в своей сумочке ежедневно. Дыханье красавицы в этом месте остановилось, ее идеальные губки перекосило, а влажные глаза самопроизвольно попросились наружу. По всему стало видно: она и не предполагала, что ее гордость, ее собственность, ее «настоящий мачо» и ласковый «зая»

отдает предпочтение не одним только худым и стройным. Тут даже крашеной блондинке стало понятно, насколько напрасны ее жертвы собой, когда она, полуголодная, в вечерние часы бьет себя по рукам, тянувшимся к дверце холодильника.

Боже праведный, что тут началось! Все краски солнечного дня померкли, небо рухнуло, а речи и движения рук верных подруг стали громкими и нетактичными. Будет, конечно, лучше все это не пересказывать и не описывать. Из всех фраз и слов, которые взлетали над полем боя у дверей «Магнита», самыми безобидными были «блин».

Мне доподлинно известно, что лучшие подруги после того страстного диспута у торговой точки стали навечно заклятыми врагами. Никогда и ничто теперь даже теоретически не могло заставить их не то что общаться на улице, но и просто быть одновременно на разных ее концах. Блондинка даже спустя какое-то время съехала из райцентра в Воронеж, чтобы поискать себе нового «зая». Они обе сразу и напрочь забыли о том, что причиной глобальных перемен в их отношениях стал единственный неосторожный жест на улице.





ВРЕДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ

Я спешил домой с сумкой, в которой стояла трехлитровая банка молока. Собственно, из-за этого я должен был попасть домой побыстрее, чтобы летняя жара не успела испортить любимый продукт. Требовалось преодолеть открытое пространство в четыре сотни метров, нещадно разогретое солнцем.

У известного магазинчика «Тодос», там, где стоит световой столб с косой боковой опорой, мне встретился знакомый ветеран – серьезный, душевный пенсионер, из категории тех, кого начинаешь уважать задолго до личного знакомства. Я вежливо поздоровался, переложив сумку с молоком в левую руку, и участливо поинтересовался:

– Как Ваше драгоценное здоровье, Василий Афанасьевич?
Пенсионер заинтересованно ответил:

– Да ну, какое там здоровье в мои-то годы? В мои годы уже и в больнице на тебя глядеть не хотят. Сами знаете, какая у нас медицина нынче. Не медицина, а беда и горе. Это вам, молодым, покамест все нипочем.

Мне захотелось приободрить старика, и я, не глядя ему в глаза, вполне искренне изрек:

– Да Вы, Василь Афанасьевич, еще ничего себе. Еще и женить Вас на молодой можно. Вон какая рука крепкая!

– Только и осталось-то, что оженить, да в гроб сразу положить, – невесело поддержал шутку старик. – На той неделе голова что-то так болела, так болела, думал, с ума сойду. Вызвал «скорую». Приехал какой-то молодой пацан в белом халате, сделал по-быстрому укол. Какой укол? Зачем сделал? От чего он помогает? Ничего не объяснил, сел и уехал. Правда, чуток вроде как сразу полегчало маленько, а потом к ночи опять. Да об чем толковать-то, дорогой мой, девятый десяток разменял под Пасху. Какое теперь здоровье?

– Да Вы что? Ну, молодец, молодец, молодцом выглядите, – поддержал я Василия Афанасьевича, прежде чем поспешить домой.

Но старик спросил разочарованно:

– Ты что это, не то спешишь куда? – вопрос звучал буднично, но мне почему-то стало неловко, как будто я этим собрался обидеть его. Вроде и не поговорил с уважаемым человеком, не расспросил толком и уже собираюсь покинуть ветерана, позитивно ко мне настроенного. И чтобы он так не подумал, спросил его из элементарной вежливости:

– Василь Афанасьевич, ребята твои давно Вас навещали?

– Да как раз на мой юбилей и приезжали. Понадарили всего – на «КАМАЗе» не свезешь. Зря только деньги потратили. Я уж им стараюсь поперек не встывать, чтобы зря не обидеть. Какой-то этот навороченный «мартфон», прости, Господи, подарили, а я так и не могу научиться пользоваться им. Пальцем крутну – все куда-то улетит, а куда дальше

крутить – и не понимаю. Со старым-то надежнее. Подарила дочь телевизор большой на стену. Кнопок на пульте – пропасть, нажмешь не на ту, вылезет какая-то хренотень и не знаешь, как хоть футбол-то посмотреть. Смотрел, небось, «Спартак» – «Зенит»? Вот дожились, ети ее мать, одни черные забивают, а наши ничего не могут – сколько не плати им. Дзюбу этого нахваливают, а он, как столб – мяча принять не может, а уж в ворота попасть, так это если, может, как-нибудь случайно. Наш «Сокол» забесплатно и то больше старается. А ты-то все на прежнем месте? Все в музее сидишь? Новые какие редкости появились? Что-то в газете стал пореже писать. Времени нет или надоело уже? А то я тебя-то всегда читаю. Мне это все интересно вспоминать.

Я переменял руку с сумкой:

– Спасибо. Время, конечно, нахожу. Пока был в отпуске – удалось в архиве удачно поработать. Отыскал интересные материалы. Готовлю большую публикацию для газеты.

Мимо нас прошла молодая девица в шортиках и топике. Василий Афанасьевич осмотрел ее вполне заинтересованно и не преминул прокомментировать:

– Девки-то, вон, совсем разделись. Все, что раньше прятали, теперь, наоборот, стараются напоказ показать. А потом жалуются, что изнасилований стало много. Ну, как тут не изнасилуешь?

Я счел благоразумным не поддерживать дальнейший разговор. От долгого стояния у меня уже побаливало в крестце. Я подыскивал фразы для тактичного прощания с ветераном, но он никакой инициативы не проявлял, а напротив, был настроен продолжить разговор.

– Не знаешь, что там Интернет о погоде-то предсказывает? Дожди-то будут хоть немного? Одна напасть, поливай – не поливай, все сохнет и желтеет.

Я авторитетно изрек, что и без Интернета знаю, что до конца недели жара будет только усиливаться, и совсем было

решился распрощаться, но откуда-то сбоку подошел наш общий знакомый Володя – высокий, простецкий, веселый парень, у которого сын этим летом выпускник школы. Володя перетряхнул сам старенький «КАМАЗ», оборудовал «спалку», подкрасил, подзаял деньжат, прикупил запчастешек и теперь занимается «дальнобоем» в уборочную и по прочим заказам. Поздоровались и я из вежливости поинтересовался:

– Ну, какие дела у сына твоего? Его ж Максимом, кажется, зовут? Как результаты по ЕГЭ? Уже сами-то знаете, куда поступаете?

Володя вначале рассказал смешной анекдот и только потом поделился сокровенным:

– Да, фиг ее знает. Раньше, в наши времена вышел с экзамена и уже знаешь, что получил, и гуляй смело, а теперь жди, когда они там проверят и сосчитают эти долбаные баллы. Но, по откровенности говоря, он учился-то у меня последний год так, шалаяй-валяй. Связался там с одной девицей, по всем ночам шлындает – не до учебы. Любовь, она, сами знаете, до добра не доводит. Подумали-подумали с женой, сам не поступит – на коммерческое отделение просунем. А что делать? А не захочет – армия. Год-то всего. Может, там ума хоть наберется. Мы-то также по молодости балбесами были. Тоже всеми ночами, где только не лазили, что только не творили!

От ступенек «Тодоса» к нам направился Витька – местный алкоголик. Небритый, нечесаный, в резиновых штиблетах на босу ногу, в мятом пиджаке, несмотря на жару. Подошел, протянул руку всем по очереди, перебил наш разговор и жалостливо попросил:

– Мужики, эта... не дадите хоть пару рублей на курево. Что-то денег нет совсем. Я с полочки верну, а... Ну, хоть сколько...

Василий Афанасьевич ответил, что и сам на свою пенсию концы с концами не сводит, что тоже занимает от пен-

сии до пенсии. Володя молча вывернул пустые карманы и только попросил:

– Только без обид. Были бы – дал. Мне не жалко.

Через карман моей потной рубашки просвечивалась пятидесятирублевая бумажка, и Витька с глазами обреченного на казнь воззрился и прожигал карман в последней своей надежде. Я человек малопьющий и категорически осуждающий пьяниц и тем более алкоголиков, но не хочу, чтобы заподозрили в скупости и неспособности помочь в просьбе. К тому же только я мог избавить всех от тяжелого духа страждущего, который явно не планировал оставить нас в покое. Кроме синенькой бумажки в кармане лежали только два рубля, подать которые выглядело бы издевкой, и я молча протянул запойному тот полтинник. Витька не поверил своему оглушительному везению. Его лицо просветлело, кадык радостно задергался, будто он уже проливал в себя полторашку «Жигулевского». Было видно, что страждущий способен многое сказать и объяснить всем, но близость спасения заставила его изречь предельно лаконичное:

– Большое спасибо... Я верну, гадам буду...

– Ладно тебе. Ничего не надо, – ответил я, и чтобы окончательно отделаться, повернулся к своим собеседникам. – А ведь неплохой сварщик был на сахзаводе. Одно время без него и обойтись не могли. Но ведь мы и сами виноваты – он нас выручит, а мы ему бутылку. А так малый неплохой, безотказный – вот и приноровился. Жена выгнала, мать померла, шатается теперь, ночует где попало, грязный и вонючий. Только дочь иногда отмоет, накормит, одежду поменяет, – посочувствовал Василий Афанасьевич.

Володя попрощался и пошел своей дорогой. Я тоже пожал обоим руки и направился к дому, но услышал сзади:

– Погоди-погоди. Забыл тебя спросить-то. На рыбалку-то давно ездил? Знаю, ты заядлый насчет этого. А я

что-то все никак не выберусь – то все болею, то не с кем вместе подпариться.

Я не был на рыбалке лет тридцать, пожалуй, уже не смогу червя на крючок насадить ровно и удочку правильно закинуть, не знаю ни прудов, ни речек. «С чего он взял, что я «заядлый»? Перепутал с кем, бестолковый», – так только подумал, а сказал мягче:

– Нет, Василь Афанасьич, в этом году пока никуда не ездил. Даже и не знаю, где и на что ловится.

После этого Василий Афанасьевич поведал мне несколько волнительных историй о необыкновенных рыбацких удачах в его честной жизни, про хитрых шук и глупых красноперок, про зимний лов и хорошие мужские компании с серьезной выпивкой и замечательной закуской.

Солнце палило все крепче, пот крупными горошинами скатывался вдоль позвоночника, который я уже не чувствовал. На его место мне будто вставили деревянный дрын. С лица пот уже не тек, а испарялся, противно стягивая его соленостью. Руки оттянула банка с прокисшим молоком. Нестерпимо хотелось в туалет. Я уже страдал от самой мысли, что до дома целых четыре сотни шагов и никто не подвезет, не поможет разогнуть спину, и ни малейшей тени от безоблачного послеполюденного палева.

Жизнь – лучший учитель, а ее проявления формируют в нас все новые привычки и личные правила. С того неформального общения с болящим Василием Афанасьевичем я теперь сразу после приветствия с очередным ветераном то-ропливо двигаюсь дальше. Может, кто-то и осуждает меня за невежливую черствость или думает, что зазнался.



СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Мысли провинциала	5
Дворик	12
Торжество демократии	26
Летний эпизод	35
По-людски	43
Юбилярша	52
Веселые люди	66
Проблемный укус	74
Стечение обстоятельств	83
Похороны	89
Внеплановая труба	100
За лучшую жизнь	112
Нетиповой провал	129
Зубное исцеление	145
Полет	158
Похмельное преображение	164
Владиков	172
А че?	179
Техника безопасности	194
Избирательная память	204
Правдивый сельский случай	213
Ответственная служба	228
Отдохнули	240
Речь	246
Блин!	253
Вредная вежливость	258